

A521

кф

Б 1166496



АЛТАЙ

1. 1983

Электронная библиотека АКУНЬ, elib.altlib.ru

Б1766496

Электронная библиотека АКУНЬ, elib.altlib.ru

A521
КР

АЛТАЙ

1983

1

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ
АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ
ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Издается с 1947 года

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

- Борис УКАЧИН. Убить бы мне голод. Повесть (окончание) . . . 3
Леонид ЕРШОВ. Женитьба Димы Гвоздева. Предприимчивый Махов. Ездил
Шубарин на родину... Рассказы 39

ПОЭЗИЯ

- Ольга КАЗАКОВЦЕВА. «Из детства он шагнул в войну...» Стихи . . . 37
Геннадий ПАНОВ. Слово о полку Игорева. Поэтический пересказ 53

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

- Иван Шумилов. Белка в колесе. Рассказ 66

ДОРОГА К ПОБЕДЕ

- Семен ТОРХОВ. Солдатская тетрадь 71
Степан ДУБИНИН. Мы были как солдаты 84

ОЧЕРК, ПУБЛИЦИСТИКА

- Рюрик ГОВИЛЕЙКО. Аргумент в сто миллионов рублей 88

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- Георгий КОНДАКОВ. Голос народа 94
Павел ЗАБЕЛИН. Бег аргамака... 97

БАРПАУЛ. АЛТАЙСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО. 1983

Виктор ИЛБИН. Возвращение к самому себе 101

САТИРА И ЮМОР

Геннадий ДАВЫДОВ. Думай, Петрович! Та еще девушка. Наш кадр. Разряд за слово. Ретро. Юморески 102

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Владимир СВИНЦОВ. Из пункта «А» в пункт «В»... Сказка 108

Редактор И. П. КУДИНОВ

Редакционная коллегия:

В. М. БАШУНОВ, П. А. БОРОДКИН, В. Ф. ГОРН,
Е. Г. ГУЩИН (зам. редактора), В. В. ДУБРОВСКАЯ, В. Я. КАДНАЙ,
Л. И. КВИН, Я. Е. КРИВОНОСОВ, Г. П. ПАНОВ, Н. М. ЧЕРКАСОВ

6 1166496



АЛЬМАНАХ «Алтай» 1983 № 1

Художественный редактор В. Ерапкин. Технический редактор М. Сафонова.
Корректор Г. Ульченко.

Рукописи не возвращаются
ЛГ 00016. Сдано в набор 5. 01. 1983 г. Подписано к печати 10. 02. 1983 г. Формат 70x108/16. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 10,15. Усл. кр.-отт. 10,675. Уч.-изд. л. 12,152. Тираж 7000 экз. Заказ № 39. Цена 50 коп.

Алтайское книжное издательство Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли — 656015, Барнаул, Ленина, 76.

Производственное объединение «Полиграфист» управления издательств, полиграфии и книжной торговли крайисполкома — 656023, Барнаул, Титова, 3.

Адрес редакции: 656099, Барнаул, Новая, 11а. Тел. 2—14—53

Электронная библиотека АКУНЬ, elib.altlib.ru

2/9

Борис УКАЧИН

УБИТЬ БЫ МНЕ ГОЛОД*

ПОВЕСТЬ

**ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ,
в которой говорится о некоторых стихах
русского поэта Ивана Ерошина и продолжают
воспоминания о первой любви Борбок-Кары**

Человеческая душа... Что в этом мире не открыто в ней? Какие чувства новы? Любовь, эта самая глубокая боль, и та старая-старая песня...

Думая о нашем суровом и далеком детстве, рассказывая о первой любви Борбок-Кары, я вдруг усомнился: могу ли кого-нибудь этим заинтересовать? Такая любовь, как у Борбок-Кары, была до него и будет после него. И описана много раз. К примеру, в стихах русского поэта Ивана Ерошина. Почему именно о них речь? Потому что они об Алтае.

Возможно, современный читатель не знает об Иване Евдокимовиче Ерошине, русском поэте, жившем в двадцатые—тридцатые годы в Сибири. Своеобразная его поэзия до сих пор не потеряла своей свежести и чистоты.

В 1935 году французский писатель Ромэн Роллан, ознакомившись с книгой Ерошина «Песни Алтая», отправил автору в Сибирь письмо, в котором, в частности, писал:

«...Мы поражены свежестью и силой не только образов этих песен, но чувств, в них выраженных. Я знаю пока только несколько стихотворений — с десятков, из самых коротких: «Я похож на облака», «Череп», о юноше, который хочет посмотреть девиц и у которого нет новой рубашки, и несколько других. Образ пальцев... («как дикие пчелы»), голоса («как рыжее пламя»), образы природы (кедровая ветка под инеем и т. д.) — замечательны. Это напоминает китайскую и японскую поэзии, и вместе с тем — это могло бы быть создано самыми утонченными поэтами Запада...». Далее великий романист сообщил о своем желании познакомиться с этими стихами французских читателей.

Так вот теперь я думаю: может быть, Иван Ерошин обладал даром предчувствия? И не о нашем ли Борбок-Каре, не о его ли первой юношеской любви некоторые стихи поэта? Даже название одного из стихотворений напоминает о мечте нашего друга и предводителя:

НОВАЯ РУБАШКА

Износилась, посмотрю, рубашка,
Старую рубашку надо бросить,
Новую купить рубашку надо.
Славно новую надеть рубашку!
Старая юрта покосилась,
Юрту новую строить надо...

* Окончание. Начало см. в № 4, 1982.

Жизнь отцов совсем изломалась —
Жизнь хорошую будем строить!

У жизни одна общая колыбель. Молодой герой стихотворения Ерошина Турген полюбил красавицу из долины Суу-Тал. Он мечтал о ней и страдал от любви. Страдал и мой друг Борбок-Кара, сердце его тоже было объято огнем любви, любви к Чомый, которая пасла телят на верхней ферме в урочище Актел.

У поэта, жившего и работавшего до моего появления на свет, мы находим еще одно стихотворение о любви Тургена:

Девиц посмотреть хочу,
Девиц сугдаальских гор!
Как я с ними познакомлюсь?
Как вступлю я в разговор?
Сапоги хорошие надену,
А рубашки новой нет.
Я скажу: «Зовут меня Турген,
Мне семнадцать лет».

Такой муки, какую испытал Борбок-Кара от своей первой любви, наверное, никогда он больше не чувствовал. А ведь в своей жизни он и замерзал, и голодал — много видел, через многое прошел. Даже тогда, когда дед Папай жестоко крутил его уши, он слезинки не проронил из своих черных глаз. Этот стойкий батыр страдал и проливал слезы из-за любви.

Чомый перестала выходить к Борбок-Каре. Что с ней случилось — трудно было понять. Каждый из нас, жалея Борбок-Кару, ходил, как больной. Но другу нашему от этого было ли легче?!

Борбок-Кара вновь отправил на верхнюю стоянку Пашу. Тот, улучив момент, напомнил:

— Максим ждет тебя, Чомый.

Девушка, словно не слыша, прошла мимо, юркнула в юрту своей сестры Шурбалы. Паша ждал, ждал, но она не вышла.

Назавтра к ней явился я:

— Максим ждет тебя.

Чомый опять кинулась к юрте, но я решительно преградил ей дорогу.

Мы стоим лицом к лицу. Она посмотрела на меня со своей высоты, скривив в усмешке уголки рта. А к босым ногам ее прилипли былинки трав, омытые серебром вечерней росы.

На какое-то мгновение я оторопел. Не мог найти нужных слов и вдруг соврал:

— Максим сегодня придет в красной рубашке и в красных сапогах, Чомый. Ты выйдешь к нему? — Спрашиваю, а сам, чуть не плача, угариваю: — Ты сегодня нашего Максима не узнаешь. Во всем красном он сверкает, переливается, как огонь!

Она же, показав мне язык, неожиданно так сильно меня толкнула, что я упал.

— Скажи своему Борбок-Каре, что я ему не молоко, не сметана и какой-то белый теленок... Чтоб сюда больше никогда не приходил! Иначе... — не досказав, она скрылась в юрте Шурбалы, лишь мелькнув пятками.

Делать нечего. Я вернулся к друзьям.

— Как? — погасшим голосом спросил Борбок-Кара.

Я скрыл, что Чомый толкнула меня и что я упал. А об остальном рассказал как было.

— А язык она тебе не показала? — поинтересовался Паша.

— Значит, говорит, чтоб я ей больше не показывался? — уточнил предводитель.

— Д-да...

— А как звала меня — Максимом или Борбок-Карой?

— Борбок-Карой... И еще сказала, что она не хочет быть ни теленком, ни молоком.

— В таком случае вот тебе! — Борбок-Кара влепил мне крепкую пощечину. — Скажи, скажи, что Чомый звала меня Максимом! — закричал он яростно, схватив меня за ухо. — Больше не будешь врать! — Наконец, помучив меня, он отпустил мое ухо, зло приказал Метирею: — Приготовься, завтра пойдешь ты! А теперь уходите! Все!

И мы, тяжело вздохнув, взглянув на своего друга и вождя с великой жалостью, медленно направились домой, оставив его одного в сумерках леса.

Как провел эту ночь Борбок-Кара — никто из нас не знает. А на завтра, когда к Чомый должен был идти Метирей, дело приняло неожиданный оборот.

— Я сам все узнал, — хриплым голосом сказал нам предводитель. — Ты, Метирей, сегодня не пойдешь к Чомый... — И приказал, как накануне Метирею: — Приготовьтесь! Сегодня долго будем ждать Чомый. Оденьтесь все потеплее. Как будем действовать — объясню по пути.

В сумерках мы двинулись на верхнюю стоянку. Не доходя немного, остановились около огромной лиственницы. Тут Борбок-Кара нас совсем ошарашил — выдал каждому заранее приготовленные им и спрятанные под лиственницей дубинки.

— Будьте, пацаны, наготове!

— Зачем это?!

— Большая по-литика!

— Если такими лупить, Чомый умрет!

— Не для нее это! — решительно и зло отрезал Борбок-Кара. — Другая тут по-литика, батыры. С кем будем воевать, потом узнаете.

Что-то очень серьезное ждало нас. Мы подошли поближе к юртам фермы и остановились в густом подлеске. Отсюда до юрты Шурбалы шагов сто. Залегли, уставившись на дверь, замерли... Ждать пришлось недолго, дверь юрты открылась и...

О, куда-бог ты мой! Разве тогда мы — Паша, Метирей и я — понимали, что на пути любви есть такие повороты и узлы?..

Хорошо, что Актыр не пошел с нами. Горько было бы ему смотреть на слезы, муки старшего брата.

Когда на фоне яркого огня, горящего внутри юрты, на какое-то мгновение предстал очень знакомый силуэт, Паша громко прошептал:

— Борбок-Кара, гляди, Чомый!

Но наш вождь, пригрозив Паше кулаком, пригнул его к земле.

— Чомый сегодня решила прийти к тебе, — обрадовался и Метирей.

— Давай крикнем, что Максим ждет здесь? — повернул я голову к нашему предводителю, но сильная рука Борбок-Кары и меня пригнула к земле.

— Тихо! — скомандовал он. — Где колотушки? Приготовьтесь!

Чомый побежала не туда, где всегда встречалась с Борбок-Карой, а в другую сторону, туда, где под большой и яркой луной дремали высокие деревья. Глядим во все глаза, даже не дышим. Что будет дальше? Куда же она?

Внезапно чья-то огромная тень выросла из-за дерева и двинулась навстречу Чомый. Мы сразу узнали, кто это. Батыром, обнявшим Чомый единственной рукой, был, конечно, Токтон.

Когда Токтон обнял Чомый, а она прижалась к его груди, Борбок-Кара не выдержал: застонал, заскрипел зубами, стал царапать землю и бить по ней кулаками, рвать зубами траву. А мы, глупые мальчишки, с величайшим любопытством продолжали следить за теми двоими, буд-то не видя мук нашего предводителя.

Очень хотелось услышать, что они говорят, но мы были далеко от них. Паша первым стал подползать к Чомый и Токтону. Мы с Метиреем — не оглядываясь на своего предводителя — за ним. Вскоре я услышал за своей спиной и дыхание Борбок-Кары.

За влюбленными следили не только мы. Желтая, как масло, луна, казалось, тоже замерла, чутко вслушиваясь в каждое слово влюбленных. Притихли и деревья, и горы.

Токтон говорил не так, как наш вождь, у него таких слов не было.

— Чомый, ты такая красивая... Человек не может быть таким! — говорил молчаливый Токтон.

— Но я же человек! — Чомый, улыбаясь, смотрела на солдата снизу вверх.

— Ты, наверное, дочь вот этой луны. — Токтон и Чомый, запрокинув головы, крепче прижались друг к другу и какое-то время молча смотрели на луну и крупные ночные звезды.

— Нет, Чомый, ты больше похожа на солнце, от тебя веет его теплом... — опять смотрел Токтон на Чомый.

— Как это, от солнца — веет? — тихо спросил меня Метирей.

Я пожал плечами.

— Я так долго не был дома, Чомый, а ты — как весь наш Алтай. От тебя пахнет его травами, снегами вершин...

Борбок-Кара не выдержал:

— Ы-ых! — тяжело застонал он, — ы-ых!.. Сердце бы вырвал!..

— Чье? — мы втроем придвинулись к предводителю.

— Где колотушки, берите! — приказал Борбок-Кара. — Будем бить обоих!

Мы, всегда готовые горой стоять за своего командира, замаялись, что-то нам мешало послушаться его.

— Ну! — резко и требовательно подгонял он. — Я встану, а вы — за мной...

— Борбок-Кара, а если у него наган? — как всегда проявил сообразительность Паша.

— Наган? Какой наган?!

Мы растерялись, если не сказать — испугались.

— Токтон нас всех перестреляет, а что будет с нашими матерями? — высказал Паша за всех беспокоившую нас мысль.

И вдруг Токтон как рявкнет:

— А ну, марш! Я вам дам подслушивать!..

Наши сердца словно в пятки прыгнули, от испуга перехватило дыхание. Первым подскочил Метирей, за ним Паша и я, последним бежал Борбок-Кара. Так и ждали мы за спинами выстрела.

Немного отбежав, наш предводитель остановился. Мы тоже. Борбок-Кара тяжело дышал, то и дело оглядываясь на Токтона и Чомый. Вдруг он упал как подкошенный и запричитал:

— Что я наделал? Что, что, что?.. — Он долго катался по земле, скрипел зубами и все причитал: — Дурак я, пацаны, дурак! Ведь я знал, что Чомый — дочь солнца! Почему я не говорил ей так?!

Мы очень жалели Борбок-Кару. Впервые мы каким-то далеким и новым ощущением поняли, что слова и жар любви бывают, оказываются, разными.

...А осенью горы наши родные и уже дышащее холодом небо опять отдались звону алтайских песен. Пели их наши матери — доярки и гости, прибывшие на первую послевоенную свадьбу. Стойбище Актел заполнилось оседланными конями и празднично одетыми людьми. Всем хотелось посмотреть на свадьбу солдата, поздравить жениха и невесту, чем-нибудь помочь молодым.

Чомый в те дни трудно было узнать. Она вся светилась счастьем! В свадебном наряде, в алтайской шапочке из лисьих лап и в кожаных сапожках алтайского покроя невеста была неотразима.

Токтону и Чомый пели песни-пожелания, песни-посвящения. Эх тех свадебных мелодий и теперь, кажется, отдается в моих ушах:

Из всех красивых долин —
Самая красивая наша долина.
Из всех красивых невест
Лучшая — Токтона невеста.

Борбок-Кары в дни свадьбы в Актеле не было. Чужая радость была для него горька, и он уехал, может быть, в страну Ело или еще дальше, в Кенгу, сдавать шкурки сусликов и кротов.

А песни не кончались, их пели до молочно-белого утра:

Пусть у шестигранной коновязи нашей
Всегда стоит иноходец-аргамак.
А в юрте большой шестигранной
Пусть веселится народ на свадьбе.

Алтайцы говорят так: нет одинаковых облаков на бескрайнем небе, нет в огромном мире и людей, похожих друг на друга. Но похожие судьбы, мне думается, встречаются.

Я потому решил написать о первой любви своего друга, что был уверен: это ново и интересно. А перечитал стихи Ерошина, узнал о трагедии его героев, его любовных муках и понял — трагедия первой любви Борбок-Кары не нова. Может быть, русский поэт и вот эти стихи написал о моем друге?

Что за птицы там летят?
Это — пара серых уток.
Вслед смотрю, зачем смотрю?
Над горой, где камень сер, —
Серые растаяли.
Вслед смотрел, зачем смотрел?
Горе мне: жена ушла.
Глупая покинула.
Глупую зачем люблю?

Ай, Борбок-Кара, жаль, не ведал ты о том, что жил на земле человек, знавший, какие душевные терзания тебя ждут, чем кончится твоя любовь. Если бы ты знал о судьбе его героя Тургена, наверное, не стал бы сравнивать Чомый ни с белым молоком, ни тем более с теленком. Ах, если бы ты ей сказал: «Чомый — ты дочь солнца» или: «Ты, Чомый, спустилась с небес».. Если бы так ты сказал, возможно, пути твоей любви оказались бы совсем иными...

Я видел собственными глазами, как мучительно больно умирала первая любовь нашего тогдашнего вождя и друга. Как в большую за-суху выгорают травы и цветы, так сгорала и его любовь.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ —

о том, как возвращались мои дядья с фронта,
о новых поворотах жизни

Закончилась война, и мы, дети военного времени, узнали жизнь другой. Она ли повернулась к нам новой стороной, или мы смотрели на незнакомую жизнь глазами удивленных цветов?.. Мы учились жить по-другому.

Мама отвезла меня в деревню к своей старшей сестре, чтобы я продолжил здесь учебу в школе, в третьем классе. Но какое это было учение?! Я не мог жить не дома. Часто уходил к маме. Днями бродил с ребятами по Кайру-Бажи, ставил петли и капканы на зайцев и ко-суль, жил прежними заботами и радостями. О школе и не вспоминал, в деревню не возвращался месяцами.

В один из зимних дней, когда я жил дома до Кайру-Бажи дошла радостная новость:

— Тадай вернулся!

Тадай — это один из трех маминых дядьев. Мы знали, что он и дядя Кипий живы и должны скоро вернуться с фронта. Я никогда не видел своих дядей, не знал, чем они занимались, где работали и жили до войны, но мама изредка получала весточки от них, и я с великим нетерпением ждал их возвращения.

Услышав долгожданную весть, еще не встретившись с родным братишкой, мама всплакнула. Она разволновалась, заторопилась, стала тут же запрягать серого коня.

— Мама, возьми меня! Я хочу увидеть дядю! — подбежал я к матери.

— Дядя потом сюда приедет, и ты увидишь его.

— Ну мама...

— Возьми ты его с собой, — выручила меня тетушка Тудар. Если бы не она, мне бы не уехать с матерью. — Пусть Барыс посмотрит на своего дядю.

О, если бы я не поехал тогда в деревню, не достался бы мне подарок, на который с завистью смотрел даже Борбок-Кара.

Кайрунская долина насквозь продувалась ветрами. Снега не оставалось: все уносили сильные ветры. Теплых одежд у нас не было. В шубейке своей, казалось, сшитой из заплат, я не замерзал, только если постоянно двигался. А в санях мне не высидеть. Поэтому мама надела на меня поверх шубы старый брезентовый дождевик, и мы помычались в Кайру сквозь белый буран.

Дядя Тадай, оказывается, остановился у младшей сестры, у тети Чодыйт. Мама протянула руку брату и опять заплакала.

Разглядев своего дядю, я не очень обрадовался. Нечем гордиться, думаю. Вид совсем не как у Максима и Токтона. Дядя же, взглянув на мои грязные, потрескавшиеся до крови руки, на мою шубейку, украдкой вытер слезу со щеки.

В это время Темитей, сын тети Чодыйт, который младше меня на два года, подбежал ко мне:

— Смотри, что мне дядя подарил! — Он явно хвастал полевой сумкой с длинным ремнем. — Вот глянь, сколько тут отделений! Для тетрадей, книжек...

Я, конечно, тайно завидую красивой сумке Темитея и краем глаза смотрю на дядю. Нет на его зеленой гимнастерке ни одной медали, значка даже нет. Блестят лишь медные пуговицы. Видать, с фашистами дрался плохо. И ноги, и руки целы. Откуда мне было знать, что дядя находился на дальневосточной границе. А вот шинель его намного красивее, чем у Токтона. У моего дяди она болотного цвета, а у Токтона обыкновенная — серая.

Темитей не отходил от меня. Он учится в первом классе, ни одного дня не пропустил, потому что живет в деревне, тут его дом.

— А ты почему в школу не приходишь? — Сам того не зная, он позорит меня перед дядей-фронтовиком. — Хорошо в школе! Посмотри, какие у меня книжки! Такие картинки красивые...

Вдруг и я решил перед Темитеем хвастануть:

— А я дяде заячьего мяса привез!

Мама, будто ждала этих моих слов, вытащила из мешка зайца и подала тете Чодыйт.

— О, оказывается, ты охотник! — удивился дядя. — Подожди, что же тебе подарить? — Он улыбнулся ласково и вдруг снял с себя ремень. — На, возьми...

О, поверить ли этому! Я остолбенел.

— Такую красивую и дорогую вещь, — начала мама, — зачем отдавать ребенку? Лучше сам носи.

Я испугался: «Теперь не даст...». Но Темитей подбежал к дяде, взял ремень и подал мне:

— У тебя будет ремень, а у меня — сумка!

Ни тетя Чодыйт, ни мама больше про ремень ничего не сказали.

— Но одно условие, — сказал дядя. — Ты будешь ходить в школу. Надо учиться, Барыс...

Надо же мне было приехать посмотреть своего дядю! Я узнал, что до армии он, оказываясь, учился в педучилище, а теперь его назначили директором кайрунской начальной школы. Если бы я знал! — сокрушался я тогда.

Домой мама уехала одна. Я стал жить у дяди. Учился, чай пил теперь с сахаром и хлебом. Но не утихала во мне одна боль — желание вернуться домой. Даже и ремень был не в радость. Мои петли и капканы, оставленные в горах и лесах Кайру-Бажи, казались слаще, чем чай с сахаром и хлебом. Они звали меня, манили к себе день и ночь: «Приходи, взгляни на нас!» В иные дни они криком кричали. Почему-то казалось, что в них, запутавшись, попали почти все звери Алтая: заяц, лисица, косуля, кабарга, волк и даже, хотя и зима, почему-то медведь!

Мыслями я всегда был там, в Кайру-Бажи. «Все равно уйду в горы!» — думал я. Дяде с трудом удалось уговорить меня закончить в тот год третий класс. Он со мной здорово повозился!

И вот учебный год заканчивается, во дворе буйствует зеленый май, месяц кукушки.

Однажды к нам в класс вместе с дядей вошел восхитивший всех мужчину. Такого высокого человека наш Кайру, конечно, никогда не видел. Мы думали, что ростом он не меньше десяти метров. Но дядя потом сказал, что рост его всего лишь два метра. Мы подумали, что он русский. А он оказался поляком. Лицо у него было маленькое, глаза голубые и пронзительные. Мы тогда красоту голубых глаз не понимали: они напоминали нам холодное небо. Мы никак не могли понять: почему бывают такие глаза? Глаза у всех должны быть, как у алтайцев, черные или хотя бы карие. Мы, дети гор, в то время еще не привыкли к европейским глазам.

И речь этого человека, конечно, мы не понимали. Мы только-только начали изучать русский язык. Тогда был такой учебник по русскому языку, в конце которого помещался небольшой русско-алтайский словарь. Мы зубрили: «Сын — уулы... сын — уулы».

Приехавший высоченный человек с тонкими ногами был никаким не инспектор или начальник, а не то режиссер, не то оператор. Имя-отчество его я забыл, но фамилию помню и сегодня — Минорский.

Верстах в трех от Кайру есть небольшой каменистый перевал, через который можно попасть в обширную долину Тади-Кышту. По-русски это значит: «Место зимовки человека по имени Тади». Перевал этот был нам известен давно. Там мы не раз восхищались наскальными рисунками птиц и зверей. Удивлялись: когда и кто их нарисовал? Они казались живыми, эти нарисованные звери и птицы.

И вот дядя Тадай и приезжий человек повезли нас к перевалу Тади-Кышту.

Повезли вот почему: Минорский хотел сфотографировать нас, как мы тогда его поняли, у наскальных рисунков каким-то странным и жужжащим аппаратом. Потом дядя объяснил, что Минорский будет не фотографировать, а снимать нас для киножурнала.

У наскальных рисунков приезжий оставил только моего двоюродного брата Темитея. Нас же расставил невдалеке: кого за дерево, кого за камень. И велел нам представить, будто мы дети колхозников и пасем здесь, на перевале, овец.

Рисунки тогда и так были четкие и ясные, а Минорский к тому же подретушировал их углем. Это еще больше оживило нарисованных птиц и зверей: казалось, сейчас птицы взлетят, а звери продолжат свой бег.

Замысел Минорского был таков: Темитей будто бы впервые увидит эти рисунки, начнет ликовать, размахивать руками, сзывая нас посмотреть. А мы должны выскочить с разных сторон, подбежать к Темитею и рисункам, смотреть и удивляться.

Почему Минорский именно Темитея выбрал для этой цели? Дело, наверное, в его шапке. Ни у кого из нас не было такой шапки. У Темитея была настоящая алтайская шапка, сделанная из рысьих лап. Видно, по замыслу режиссера, фильм должен был отражать национальный колорит.

Вот все готово. Высокий человек в длинном кожаном плаще присел на колени, нацелил аппарат на художника Темитея и взмахнул свободной рукой:

— Кричи, зови друзей!..

Нет, мой двоюродный брат никак не мог этого сделать. Уж слишком он был застенчив. Застыл и покраснел.

— Кричи, Темитей, кричи. Сними шапку и маши! — помогая Минорскому, просит и дядя Тадай.

Но у Темитея пропал голос. Застрял в горле. Брат мой заплакал и отбежал в сторону. Сколько ни просили и Минорский, и дядя Тадай, он наотрез отказался. Что делать, как быть?..

— Тогда дай-ка сюда свою шапку, — сказал Минорский и, сняв с головы Темитея шапку из рысьих лап, надел ее на меня, а мою рваную ушанку протянул Темитею.

Тот отказался надеть мою ушанку, далеко отбросил ее и убежал.

Теперь наскальные рисунки находил я. Какая радость! Теперь у меня будет главная роль, я стану кричать, махать шапкой, созывать остальных ребят!

И вот я кричу, кидаю вверх шапку, ловлю ее на лету. Подпрыгиваю и чуть ли не пляшу. Аппарат Минорского, словно пчела или змея, жужжит, шипит, щелкает. А он сам то присядет, то выпрямится во весь рост. Снимает, снимает то пятясь назад, то наступая.

От лучей весеннего солнца глазок его странного аппарата сверкает, блестит.

Вот я на четвереньках ползу вокруг камня. Вожу по нему указательным пальцем, как указкой по школьной карте, показывая друзьям рисунки. А Минорский все жужжит и жужжит...

Часа через полтора он отпустил школьников с дядей, а меня и еще двух мальчиков оставил с собой. На мне так и осталась Темитеева шапка. Мы пошли искать другие камни с древними надписями и рисунками, чтобы и возле них сниматься для киножурнала «Сибирь на экране».

Спустились в долину Тади-Кышту. Там Минорский нас снимал около каменной бабы. Вечером, когда подошло время возвращаться в деревню, этот приезжий человек еще больше нас удивил, — а уж как обрадовал! — дав каждому по новенькой красной тридцатке. В то время не то что мы, даже наши родители редко держали в руках такие деньги. Это был мой первый гонорар за скромную службу на поприще искусства...

С тех пор много раз всходили и увядали цветы и травы родной земли. С тех пор промчалось много лет. Обмывая и залечивая душевные раны мой чистейшим горным аржаном — лечебной водой, много рек радости и счастья протекло через мое сердце.

Все мы на этом свете, под этим небом ходим под таинственным знаком предначертанной судьбы. Что ж, ничего не сделаешь. Как я

могу пройти мимо имени Темитея, как не вспомню о нем?! Человеческая мысль сильнее самого человека. Она жалости не имеет.

О, Темитей, Темитей, Темитей! Ты больше не видишь весен, белых зим Алтая и золота осени не видишь. Алтайское лето пахнет настоем трав и парным молоком — и все это тоже без тебя. В тот год, когда приключилась беда, тебе было всего двадцать пять лет...

Закончив учебу, мы выбрали разные пути. Ты, Темитей, первым дошел до Москвы. Закончив сельскохозяйственную академию имени Тимирязева, человек высокой души, ты вернулся на родной Алтай.

В тот год ты работал в отдаленном районе Кок-Суу. Оттуда ты не раз и не два приезжал ко мне в гости в наш родной и единственный в Горном Алтае город. Любил брать на руки моего сына-первенца и, белозубо улыбаясь, подбрасывал его до потолка. Как я могу, Темитей, все это забыть? Вот-вот ты должен был жениться.

Темитей, Темитей, брат ты мой, друг мой, один из тех, кто мечтал и начинал делать добро для людей алтайских зеленых и белых гор...

В ту свою первую весну агронома ты вдохновенно работал. Влюбленно смотрел на девушку, идущую рядом с тобой. Всею радовался. Верил мечте своей, дорогам верил, по которым шел, верил в свои молодые силы... О жизни думал, что она, как длинная, длинная нитка. Не думал, что эта нитка может быть очень непрочной...

О, Темитей! Ледяная вода грозной Кок-Суу сразу сковала твое тело. В ее пенных, бурлящих волнах навеки исчезла твоя голова... А девушка бегала вдоль берега и кричала. Не услышала смерть крика ее, молитвы ее. Смерть ненавидит влюбленное сердце!

Был ты тогда всего на два года моложе меня. А теперь на двадцать. Черные мои волосы начали седеть. Иду я сегодня по жизни, сгибаясь под бременем своего века. Стараюсь подняться во-о-о-н на тот перевал. А дальше виднеется другая высота. Возьму ли ее? Темитей! Как бы нам было легче идти вместе!

Вдруг в мозгу шевельнулась одна странная мысль. Так или нет — сомневаюсь, право... Темитей, не зря ли ты тогда отказался сыграть свою роль? Не чужую ли роль играл я на перевале Тади-Кышту? Как налезла на мою голову чужая шапка, скажи? Как же мог я согласиться отобрать у тебя твои движения, взмах рук твоих, твою улыбку, удивление твое — все то, что, благодаря кино, сохранило бы тебя навсегда живым? Почему же, Темитей, ты не сыграл свою роль? «Бегите сюда!» — кричал бы ты нам с экрана...

Где тот оператор или режиссер? Его я искал и не нашел, Темитей. А хорошо бы увидеть на скальных те рисунки, которые видели тогда алтайские оборванные мальчишки и девчонки.

Говорят, нет знака судьбы. Мне же кажется, что люди рождаются с определенной метой. Кто меня убедит, что это не так?..

Сами подумайте, отец Темитея тоже утонул в реке, и было ему тоже двадцать пять лет. Что это? Случайное совпадение? Кто мне ответит? Сам я понять не могу.

...Когда я лежал и мучительно думал о человеческих судьбах, ко мне в палату пришел Борбок-Кара:

— Кончается мой курорт. Хватит лечиться. Кто будет пасти овец? Я соскучился по ним.

Увидев, что я не реагирую на его шуточный тон, он перестал смеяться и, теребя бороду, заглянул в мои глаза:

— Что с тобой? Может, сильно болеешь, а? Наша Алтын-Чач не приходила?

— Борбок-Кара, — спросил я его, — в последний раз когда ты был у скальных рисунков на Тади-Кышту?

— Ха, — усмехнулся он, — зачем я туда поеду, что мне там делать? — Он почесал свою черную бороду. — Ты разве не знаешь, что теперь нет тех рисунков?

— Как нет?! Куда они могли деться?

— Дети испортили, камнями выбили те рисунки, Барыс...

— Как дети, какие дети?!

— «Ка-ки-е де-ти»... — протянул Борбок-Кара и вдруг рассердился: — Наши дети, школьники! Да еще влюбленные. Если хочешь, поезжай сам, убедишься. Некоторые, видать, специально приносили туда долото и долбили прямо поверх рисунков свои имена.

Вот она, современность! Почему же нам в детстве не приходило на ум пойти и уничтожить эти рисунки? Кто тут виноват?.. Молчу, думаю...

Быть может, я человек несовременный? Как долго, оказывается, я живу на свете... Стал современником разных эпох!

Борбок-Кара, увидев, что я не расположен сегодня к беседе с ним, ушел в свою палату.

Подумать только: дядя мой, работавший директором школы, ныне простой чабан. Заболев под старость тяжелой болезнью, мать моя ушла в ту страну, где не бывает ни дня и ни ночи. Теперь она в вечном покое. Почти два десятилетия нет на земле брата моего и друга Темитея...

Новое поколение властвует над временем. Но ведь и наскальные надписи и рисунки древних мастеров уничтожили тоже люди нового поколения. Видимо, многим гораздо дороже видеть на тех камнях свои имена, чем следы предков. Почему? Разве я кому позволю надругаться над могилами дорогих мне людей? Того же Темитея или моей матери?.. Кто в будущем обратит внимание на камни с выбитыми долотом именами и инициалами людей двадцатого века?.. Думаю, даже простому любителю-фотографу они будут неинтересны.

Жив ли сегодня тот голубоглазый двухметрового роста человек, который приехал к нам в Кайру в послевоенный год, чтобы донести до людей красоту, чудо?..

Всего, что вспоминается, не опишешь. Неловко хвалить, нехорошо охаивать своих близких родичей. Но от правды не уйдешь. Какими были пути жизни — так и хочется о них рассказать.

Младший брат матери, дядя Кипий, вернулся намного позже дяди Тадая. К этому времени я снова бросил учебу. Закончив третий класс, уехал в горы к матери и твердо решил больше не спускаться в деревню. Никакая школа с ее прекрасными книгами и умными учителями не могла затмить любимое мною: охоту.

Дядя Тадай часто приезжал к нам, уговаривал учиться. Иногда ему удавалось увезти меня в деревню при решительном содействии матери. Ну, например, при помощи плетки, которую она крепко держала в руках. А дня через два или три я снова был дома.

— Ну зачем учиться? — не раз ставил я этот глупый и наивный вопрос перед дядей-учителем. — Половина Кайру не училась, и никто от этого не умер.

— Когда поймешь зачем учиться, будет поздно, — отвечал дядя. — Сам будешь казнить себя и нас проклипать, почему не заставили тебя учиться.

— Ну уж нет, учеба не для меня. Чем сидеть в душном классе, лучше на хорошем иноходце ездить по горам и пасти табун! — дерзко отстаивал я свою точку зрения.

В самом деле, может ли быть что-нибудь прекраснее всадника на крылатом коне?!

Все мамины сестры и дядя Тадай жили в Кайру, и дядя Кипий присылал письма именно туда. Он писал тете Чодыйт, матери Темитея, которая заведовала овцефермой, интересовался жизнью всех родных, обращался ко всем своим сестрам и брату. Спрашивал он и о нашей маме, но никогда в этих письмах не упоминал обо мне и сестре, что очень обижало, а порой и злило меня. Изредка письма от дяди Кипия

приходили и к нам, в Кайру-Бажи или в Актел. И хотя в них находилась строчка обо мне и сестренке, дядя не называл наших имен. Это не могло не сердить меня.

Писал он из самого Берлина. Присылал в письмах и фотокарточки. На одном фото дядя был чисто и красиво одет, в белой рубашке, при галстукке. На другом — в комбинезоне и пилотке. Он сидел на крыле огромной машины. В этот снимок я невольно влюбился, еще бы: мой дядя шофер! Подсчитал колеса его машины — десять! Вот на какой необыкновенной машине работает мой дядя!.. Об этом я прожужжал уши и Борбок-Каре, и Метирею, и Паше, словно я сам был шофером этой десятиколесной машины.

Хотя и кончилась война, время было все равно трудное. Плохо по-прежнему было с питанием. Колхозники ели — поверит ли мне кто сегодня? — отруби и жмых. Наша земля высокогорная, суровая, на ней ничего не растет. Даже картошка...

Трудное время. Помнится, однажды дядя Кипий прислал посылку. Посылка пришла на имя тети Чодыйт. Мне досталась рубашка, которую я носил, пока не истлела на моих острых плечах. А досталась она мне так.

Мама никогда не спускалась в деревню с пустыми руками. Она везла родным алтайский самодельный сыр-быштук, творог-эдегей, а если я убивал ко времени ее поездки горного козла или кабаргу, непременно брала с собою мясо. Грузила на сани и сухие лиственничные дрова. Вот после одного такого путешествия мать и принесла ту самую рубашку.

— На рубашку, балам-сынок, мы сшили ее из мешка, в котором была посылка твоего дяди Кипия, — просто сказала мать.

А разве мне важно было, из чего она? Была бы без дыр и заплат. Надев рубашку, оглаживая ее своими потресканными черными руками, я радовался: как хорошо, что у меня есть дядя.

Прошел год. Я становился человеком самостоятельным. Колхозник!.. Летом пас табун коней. Коня седлал — какого выберу! Я уже, как взрослый, объезжал строптивых коней. А это — достоинство алтайского мужчины. От такой славы отказался ли бы хоть один алтаец?

— Сын волка — волком вырастает, — говорили тогда люди обо мне.

И мне это было приятно слышать, я гордился: значит, я похож на отца! Он тоже был табунщиком. Да еще каким! Отменным! И лучше моего отца никто коней не объезжал. Конечно, я очень хотел быть сильным, ловким, бесстрашным, как он.

Но пока мне доверяли табун только летом, когда не хватало табунщиков, потому что даже их отправляли на сенокос. Готовить корм для скота было летом главной задачей всех колхозников. Замещая какого-нибудь табунщика, я мечтал, как через два-три года стану настоящим, даже старшим табунщиком. Буду пасти коней и зимой, не только летом. Вот тогда во всем Кайру не найдется такого парня, даже взрослого мужчины, под седлом которого будет конь лучше моего. Только немного подождите. Я вам это докажу!

Однажды осенью я приехал в деревню. Зачем — не помню. Когда проезжал мимо юрты тети Чодыйт, выбежал Темитей:

— Барыс, зайди к нам, тебя зовет дядя Кипий, он вернулся из армии.

Мне совсем не хотелось заходить к тете Чодыйт, я даже не обрадовался приезду дяди: знал, что опять начнется разговор об этой проклятой школе.

Войдя в дом, я тут же прилип к косяку двери. Почему-то очень смутился. Бросило в жар.

Дядя Кипий показался мне намного выше дяди Тадая. На мои рваные штаны, на обутки мои он посмотрел как-то странно, безразлично,

что ли. Сам он был не в военной форме, а в белой рубашке и в черном костюме.

Я вспотел и смотрел не на дядю, а себе под ноги.

— Подойди и поздоровайся с дядей, — подсказала тетя Чодыйт.

Дядя Кипий сам подошел ко мне и спросил:

— Как живет мать?

«Нет бы узнать, как я живу и работаю!» — разозлился я и ничего не ответил.

— Скажи ей, что я у Чодыйт, пусть завтра приедет. Ты в каком классе учишься?

«Началось!»

— Я работаю, не учусь.

— Это плохо. Ты сколько классов кончил?

— Три.

— А Темитей вот младше тебя, а тоже уже в третьем...

— А я зато табунщик! — гордо выпалил я, перебив дядю.

— Ты, наверное, не табунщик, а лентяйчик, — вдруг засмеялся он.

Я вскипел, выбежал из дома, сел на своего коня и ускакал.

Той осенью я до снега пас коней...

Как я радовался, что мне доверили колхозный табун до самой зимы! Но радость моя к концу омрачилась: и замучился я, и было страшно, и рано наступили зимние холода.

Хорошо, конечно, красоваться на отличном иноходце. Приятно летом ездить по горам, слушать тонкое ржание жеребят. Но ночевать в холодные, почти морозные ночи под открытым всем ветрам кедром ой как трудно! Еще хуже, если волки нападут на табун да погубят какого-нибудь жеребенка. Каково рассчитываться за него с колхозом? Той осенью волки двух жеребят съели. Удержали с матери. А сколько она зарабатывала?!

Но самое, наверное, жуткое было в ту осень — одному ночевать в горах у одинокого костра под холодным злым небом. Греешь грудь — спина мерзнет. Повернешься спиной к огню — ветер холодный дует в лицо. Никак не согреться...

Рано в тайге начинаются дожди... пурга... Сыро, темно кругом. А как спать ложился? Под себя стелил потник, под голову пристраивал седло. Укрыться было нечем. А одежда какая?! А уж вот-вот зима нагрянет, ударят морозы, которых порой не выдерживали и деревья: сучья трещали и ломались. Нет, мне казалось, я не выдержу. Застыну, подохну один в горах...

Зимой я, как всегда, охотился. С весны и летом, забыв все свои невзгоды и страхи прошлой осени, опять пас коней.

Как-то в конце августа к нам в Актел приехал дядя Кипий. Он теперь жил в Ело, работал председателем сельского Совета.

Я был дома. Мама заварила чай, угощала гостя. Я старался так сесть перед дядей, чтобы он не видел моей изодранной одежды...

К осени густых и сочных трав становится все меньше и меньше. Кони в поисках еды все дальше уходят в горы. В логу их не удержишь. Поэтому приходится гоняться за ними, искать их среди высоких зарослей и кустарников. Вот откуда порванная одежда, особенно штаны. На них смотреть страшно: как красные заплатки, проглядывает сквозь дыры мое исцарапанное тело.

Я пытался руками прикрыть дыры, но было их так много, а ладоней — только две...

За чаем разговаривали о том о сем. Я видел, что дядя изредка взглядывает на меня, что-то про себя обдумывает, но говорить обо мне он пока не решался.

Закончив пить чай, дядя Кипий раскрыл свою черную сумку, вы-

тащил из нее солдатское галифе желтого цвета и зеленую гимнастерку и подал их мне со словами:

— Иди надень все это!

Я вышел из юрты, за деревьями переоделся и быстро вернулся. Телу стало легко и уютно в теплой одежде без единой заплаты. Но только выглядел я, должно быть, очень смешно: поглядев на мои ноги, дядя не смог скрыть усмешки. Тут и я увидел, что широкие части галифе пузырями опустились ниже моих колен.

А дядя Кипий вдруг спросил:

— Ну как, не надоело быть табунщиком?

Что ему ответить?

— Сынок, ты поедешь учиться? — совсем неожиданно удивила меня вопросом мама.

— Что ты, мама, какая учеба? Я ведь два года не учился. Кто же меня, переростка, возьмет в четвертый класс?

— А хочешь учиться в городе? Там для детей пастухов открывается новая школа, — объяснил дядя. — Поедем?..

И вот мы с дядей, вдвоем на одном коне, доехали сначала до Ело — страны, где жили удивительно умные мальчишки, где жил теперь дядя Кипий. Оттуда поехали в районный центр Онгудай, куда к этому времени переехал дядя Тадай. Он работал учителем математики в школе и очень обрадовался, что я наконец буду учиться. Дядя Тадай оказал мне самую необходимую для этого услугу: выписал фиктивную (не буду и этого скрывать) справку, будто я на «хорошо» и «отлично» окончил Кайрунскую начальную школу. Без такой справки нечего было и ехать: в Областную национальную среднюю школу принимали только с пятого класса.

Пока шла война, не только я, многие дети бросили учебу. И потому Горно-Алтайский областной комитет партии и облисполком специально для детей алтайцев-пастухов открыли такую школу с интернатом на полном государственном обеспечении.

Приехав в школу, я удивился, как много нас, детей, тут собралось, как мы все похожи: грязные, рваные, худые. Мы кишели, как муравьи, не только возле здания школы, мы заполнили и улицы маленького городка. Шмыгая сопливыми носами, гурьбою ходили по деревянным тротуарам, удивляя и пугая горожан.

Разобравшись с нашими документами, нас повели в баню. Ах, что это за чудо? Как его... мы-мы-ло? Щиплет и пенится белым-белым снегом. Правда, когда попадет в глаза, заплачешь. Даже Борбок-Каре будет от этой штуки трудно.

Нашу одежду прожарили в какой-то горячей печи. Овчинные шубейки от жара скукожились, стали похожими на лица старух.

После бани всех переодели: каждому дали новую рубашку, костюмчик из черного сукна и ботинки. Мы не узнавали друг друга.

Повели в столовую. Тут опять открытие. Запах пищи какой-то новый, нам он не нравится. Особенно противно пахнет... как ее.. ка-пуста. Как только люди едят такое?! А этот... помидор?! Отец такого не видел и не едал. Снаружи красивый, кругленький, красный такой, а внутри слизь. Сперва я думал, что это и есть хваленое всеми яблоко. Хватанул с жадностью и чуть не задохнулся. Тпфук! Брызнул-то как! Противный сок и зернышки испачкали лицо и одежду.

Началась учеба. Я в пятом «А» классе. Сажу смирно. Ведь два года книг в руки не брал. К тому же учился я на алтайском языке. А тут входит в класс учитель — русский; потом второй, третий — опять же говорят и рассказывают только по-русски. Ни одного знакомого слова!

А во дворе золотая осень. Дует теплый осенний ветер, падают

листья с тополей. Печально на душе и тоскливо. Тоскую по родине. Кажется, сам становлюсь, как осенний желтеющий лист тополя. Эх, сейчас бы очутиться дома! Там, в логах и долинах, тихо. Кедровый орех уже созрел. Скоро выпадет первый снег. По нему побегут тысячи следов. Все выедут белковать. Быть бы мне среди них!.. «А если удрать? Как я буду учиться, если по-русски не знаю ни одного слова? Ну, поругают дяди и мать, пусть даже бьют — уеду!»

А как уехать без денег? Бесплатно по Чуйскому тракту никто не повезет...

Пока я решал, как удрать, в моей школьной жизни произошли перемены.

Это случилось на уроке ботаники. Учитель был добрый старичок. Стоя на одном и том же месте, покачиваясь, как маятник, он рассказывал и рассказывал, не обращая внимания на посторонний шум и шепот учеников. Некоторые, не слушая его, делали свое: рисовали, читали, писали домой письма.

Учитель ботаники никогда не вызывал неожиданно: спрашивал всегда по алфавиту. И однажды, о кудай-бог, он вызвал меня!..

В нашем пятом «А» знали русский язык и хорошо учились только несколько девочек из сел, расположенных недалеко от города. Они, эти девочки, сидели на первых партах. Как только учитель задавал какой-нибудь вопрос, руки их стрелами взлетали вверх: «Я отвечу, спросите меня!»

А я? Ни слова не понимая на уроке, я и дома не открывал учебников — зачем? Все равно убегу! Чтобы меня не спрашивали на уроке, я и голову прятал за крышкой парты, и скрывался, весь сжавшись в комок, за спинами сидящих впереди, и вообще готов был все уроки просидеть под партой.

Когда учитель ботаники назвал мою фамилию, по мне, как по железу, прошел какой-то звон. Чего ему от меня надо?

Девочки с первых парт подбодрили:

— Выходи, не бойся, расскажи по-алтайски, а мы переведем. Не стесняйся, ну, выходи же!..

Я вышел к доске. Такая тоска на душе, так хочется домой! Эх, будь что будет! Набрался духу — стал рассказывать, как охотился за белками, как ставил петли и капканы на косуль, кротов, сусликов. Даже о работе табунщика рассказал. Вижу — всем интересно, слушают, да еще как!

А учитель, видно, догадался, что речь идет отнюдь не о ботанике, потому что с любопытством посматривал то на меня, то на класс. Но дал мне вволю выговориться, не перебил.

— Кто переведет? — спросил он, когда я замолчал.

— Я, я! — поднялись руки с первых парт.

Учитель вызвал одну из девочек, и та бойко зашебетала, как я узнал потом, вчерашнюю тему по ботанике, которую я должен был рассказать. Когда она ответила, старый учитель посмотрел на меня с хитрой улыбкой и вдруг сказал по-алтайски:

— Оказывается, ты хорошо усвоил материал, молодец!.. Но за то, что ты отвечал не по-русски, пока ставлю не пятерку, а четверку. Давай свой дневник. А дальше посмотрим. Учись говорить по-русски...

Я покраснел. Но тем не менее не отказался от четверки...

Так через два года возобновилась моя учеба. Теперь я приезжал домой только летом, на каникулы. Помогал матери. Косил траву, стогавал сено.

Во второй свой приезд, на сенокосе, я заметил очень красивую девушку. Кто же такая?.. Да ведь это так неузнаваемо похорошела та самая Чергий, младшая сестра Чомый, что ходила когда-то в рваной

грязной юбочке и была худой и большеглазой! Как она быстро выросла! Посмотрите, какие длинные и черные волосы у Чергий! А лицо белое-белое. И на нем двумя радугами раскинулись брови. Вся она стройная, ладная. Как же это я раньше ее не замечал?

— Какая ты красивая, Чергий! — я встал метать стог с ней рядом. — Такую красавицу я не встречал даже в городе.

Чергий промолчала. Опустив на самые глаза голубенький платочек, она собирала граблями остатки сена и накладывала его на волюкиши.

Я подумал, что она не слышала меня.

— Чергий, ну подними хоть раз свои звездоподобные глаза!

— Не издевайся! — сердито сказала Чергий и первый раз взглянула на меня. Глаза большие карие. Ресницы длинные и темные, как вечерние сумерки. Взглянула и снова за работу. — Ты не хвастайся, что стал городским. Подумаешь!

— Ты зря ко мне так плохо относишься. Я и не собирался хвастаться, не сердись. Но ты ведь на самом деле красавица, Чергий...

— Видать, привык разговаривать с городскими девушками. — Она приподняла голову и посмотрела мне прямо в глаза. — Что, впервые меня видишь, да? Или не умел отличить камень от дерева?

— Почему ты такая сердитая? Раньше ты не была такая красивая, вот и не замечал, — ответил я совершенно откровенно. — Может, вечером встретимся, а?

— Зачем?

— Будем дышать свежим воздухом, просто так побродим.

— Свежим воздухом дыши в городе, — засмеялась Чергий. — Кто тебе сказал, что мне тут не хватает свежего воздуха?

— Ты языком стреляешь, как из автомата!

Девушка смутилась. Потом опять посмотрела на меня:

— Ты культурный! Потому-то и решил поиздеваться надо мной, да? Терпеть не могу культурных!..

В тот же день вечером мама, мягко улыбаясь, но решительно, сказала мне:

— Ты кончай заговаривать с Чергий. Разве не знаешь, что скоро ее свадьба с Аткиром?

— Как?! — растерялся я. — Ведь Чергий — сестра Чомый?!

— Ну и что?

— Да ведь на Чомый хотел жениться Борбок-Кара! Там два брата, здесь две сестры?!

Не скрою, мне это известие было неприятно, я завидовал Аткиру и не скрывал этого от Чергий.

— Если бы ты не уезжал в каменный город, — сказала она мне перед моим отъездом, — я бы еще подумала...

Я уехал. А через несколько лет написал вот это стихотворение:

И вновь весна прибежала ко мне

С брызгами слез на лице.

И девушку-землячку из дальней дали

Ко мне привела с собою она.

На ногах, вымокших в горной росе,

Цветы и травы прилипшие вижу.

Всплакнув, она упала на грудь,

Мокрое от слез скрывая лицо.

— Что ты нашел в том городе каменном? —

Глаза большие мучительно кротки.

Кому ты оставишь на стойбище меня?! —

Горькую мысль не может скрыть.

— Но мне... мне надо учиться! —

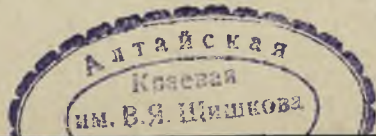
Отстранив ее, говорю жестоко.

Быть может, в груди моей сердце другое —

На рану горькую сыплю соль.

Не жалея девушку-землячку,

Отстранив ее от себя,



61166496

Мук ее душевных не понимая,
 Уезжаю в город далекий.
 ...И вновь весна прибежала ко мне
 С брызгами слез на красивом лице.
 От имени далекой и забытой девушки
 Спросила вдруг: «Счастлив ли ты?..».

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ — воспоминания о свадьбе брата Борбок-Кары Аткире и об их дяде Урмате

Каждого жизнь испытывает по своему усмотрению. Отправив человека по своим таинственным путям-дорогам, сама и следит за ним, забавляется.

В первых любовных муках нашего великого вождя и друга Борбок-Кары и его брата Аткира все непросто.

Вы помните Аткира, младшего брата Борбок-Кары? У него серые глаза, торчащие уши, небольшой горб. Мало красоты в этом человеке, красоты внешней. И сколько же мук и страданий выпало на его долю!

Как Аткир мучился в детстве! Тогда-то мы, дети, этого не понимали до конца. А ведь он был лишен главного в эти годы — движения. Говорили, что у него костный туберкулез. Возможно, это было и так. Но тетушка Кажакай смогла поднять сына на ноги. Она постоянно натирала его медвежьим салом, жиром других животных, барсучье сало смешивала с медом — доставала же где-то! — и травами и этим кормила Аткира. Я не раз видел, как она укутывала сына на ночь, приложив к его спине запаренный мох с брусничным листом. И Аткир встал. И пошел. И по сей день живет и здравствует. Когда я думаю об этом, хочется сказать: силен человек! И сильнее того любовь матери к сыну...

Лежа целыми днями один, Аткир выучился играть на алтайской дудке — шооре и на комусе. Он не только хорошо играл, но и был наделен даром подражания. На шооре и комусе он очень точно воспроизводил манеру исполнения и своеобразие голоса любого исполнителя, слышанного нами. А как он умел на шооре и комусе подражать голосам птиц, обитающих в горах Алтая! Мы часто прибежали его послушать.

Но для Аткира песня была его жизнью. И не однажды пришлось мне видеть, как из его серых глаз каплями свинца выкатывались тяжелые слезы, когда он выводил мелодии алтайских песен, лежа один в опустевшей избушке или юрте. Он молча плакал, поверяя свои думы и чувства комусу и шооре.

Когда Аткир смог ходить, он, опираясь на костылек, всюду бегал за нами. Но Борбок-Кара, щадя силы брата, никогда не брал его в длительные походы, на что Аткир очень обижался.

Когда мы все разъехались учиться, Аткир остался без ровесников, и опять он не расставался с шоором и комусом. И о любви его они узнали первыми.

Не Аткир выдумал: покорить сердце красавицы своей игрой. Сватать девушку при помощи печальных, плачущих звуков комуса — древний алтайский обычай. Находкой Аткира стало прибавление к нежной и порхающей мелодии комуса своеобразных звуков, песен шоора.

Каждый день поднимался он на верхнюю ферму, пристраивался где-нибудь вблизи юрты Чергий и, не отрывая от рта шоор, пел и пел печальные мелодии. Иногда заменял шоор комусом и опять продолжались песни любви и печали.

Очень скоро все поняли, кому посвящает свои страдальческие мелодии Аткир. Но и не думала их замечать Чергий.

Влюбленный человек иной раз не то что слово сказать своей воз-

любленной, побаивается даже встретиться с ней. Боялся и Аткаыр. И каждый день пел...

Однажды мать его, тетушка Кажакай, не выдержала:

— Если тебе по душе младшая дочь Карамая, то как дурачок не играй на шооре, а языком человека и мужчины скажи ей об этом, — посоветовала она сыну. — Не она же к тебе подойдет и скажет, чего людей-то смешить...

— Мама, как мне ее сватать? — покраснев до слез, спросил Аткаыр.

Кажакай, не готовая к такому вопросу, подумала-подумала и решила идти по древнему, испытанному пути.

Раньше алтайцы жили кочевьями, разбросанно: одна семья в одном логу, другая — в другом. Потому-то парень, задумавший жениться, в один прекрасный день возлагал нарядное седло на своего коня, одевался и сам как можно праздничнее и отправлялся по горам и весям искать себе невесту. Чаще всего выбирали не по красоте, а спрашивали в кочевье: есть ли у них работающая девушка, умеет ли она шить, варить, доить... Если не находилось невесты в кочевье, то всегда знали, где есть подходящая девушка. При этом всегда про всех знали, кто какого рода-племени. Каждый род был чем-то знаменит, у каждого были особые традиции. Парню оставалось слушать и присматриваться. Если девушка ему нравилась, он просил засватать ее.

Сватами становились, как правило, люди достойные, умеющие в нужный момент отстоять жениха, не лезть за словом в карман. Они на все лады расхваливали парня, будущего мужа девушки. А парень, еще ни слова не сказавший той девушке лично, ждал ответа ее и ее родственников. Как только получали согласие, начиналась бурная подготовка к свадьбе.

Но, конечно, не все так поступали. Иные сами находили себе жен и даже без согласия родителей приводили их домой. Бывало и наоборот: парень не хотел брать в жены девушку, а его родители заставляли взять ту, которая им нравилась.

И все-таки чаще сватали по обычаю. Этот древний обычай Алтая нет-нет да и теперь возрождается. О нем думала и тетушка Кажакай, когда Аткаыр спросил ее, как сватать Чергий. Сын выбрал невесту. Так дело за сватами!

Не посвятив в свои думы Аткаыра, мать сказала ему:

— Съезди, сынок, в деревню к дяде Урмату. Уж он-то поможет тебе.

Дядюшка Урмат, старший брат тетушки Кажакай, один из самых удивительных людей нашего Кайру. Такие встречаются один на тысячу человек, да и то не всегда.

Нам, мальчишкам, дядюшка Урмат казался стариком, и звали мы его дедушкой, а было ему после войны всего пятьдесят. Я не запомнил его довоенным, в военные годы он работал на угольной шахте в городе Кемерово — это совсем недалеко от Горного Алтая. Сразу же после войны вернулся домой, в родное Кайру, и часто приезжал к своей сестре Кажакай в Кайру-Бажи и Актел.

Дядюшка Урмат очень любил рассказывать. Слова с его языка сыпались градом. Где только их брал? Говорил чисто и гладко. Так порой скажет, что и шва не найдешь, а ведь чуешь: сочиняет дядюшка Урмат. Слушали его охотно, и было совсем неважно, где у него правда, а где выдумка. Сам он всегда верил тому, что рассказывал другим. Поговаривали, что к своим пятидесяти годам он успел жениться более десяти раз, но никто не ведал, правда это или нет. Я его знал только холостым.

Нам, детям, было интересно спрашивать дедушку Урмата о боях, походах, сражениях Красной Армии, где он служил. А слушателей постарше интересовало другое:

— А где ваши жены, дядюшка Урмат, почему вы с ними разошлись? — спрашивали они.

— Моя первая жена осталась в Даурии, — отвечал старый солдат. — Женился, когда служил в Красной Армии. Красивая женщина, русская женщина. А кто сказал, что я ее оставил? Я был солдат, меня перевели в другое место... Я с нею не разошелся.

— А вторая жена где осталась? — улыбались слушатели.

— Вторая? Там... — неопределенно кивал головой куда-то вбок и замолкал.

— Где «там»?

— Да мало ли в Советском Союзе городов и сел? Все там... — гордо и грозно заканчивал он разговор о своих женах: о них он рассказывать не любил. Потом опять долго молчал, что-то вспоминая, и неожиданно говорил: — Имя ее Аксюша... Да, Аксюша...

Кто была эта Аксюша, была ли она его второй женой, да и была ли женой вообще — мы никогда не узнали. Назвав ее имя, дядюшка Урмат сидел молча долго-долго и был совсем не похож на себя, всегда любившего поговорить, позубоскалить.

Ну а если мы своим вопросом успевали опередить взрослых, дедушку Урмата было не остановить.

— Я ребята, служил в кавалерии, у самого Семена Буденного! — так обычно начинал он свой рассказ.

Дядюшка Урмат был один из тех, кому первыми из нашего Кайру выпало служить в рядах Красной Армии. До того времени алтайцев на службу не брали, что сильно обижало наших дедов и отцов. Поэтому попасть в ряды Красной Армии было очень радостно и очень почетно.

— А вы знаете, — продолжал дедушка Урмат свой рассказ, — Семен-то Буденный, мой знаменитый командир, человек не русский, а чистейший алтаец! И не просто алтаец, а, клянусь вам молоком матери, он, как и я, ваш покорный слуга, из рода майманов. Да, из рода карачерных майманов! Мы с Семеном жили как два родных брата, только он, конечно, был старший брат... Эх, дорогие годы, дорогое время! Тогда какие были героические парни! — Дедушка Урмат, глядя на нас желтоватыми глазами, качал лысеющей костистой головой и поглаживал усы.

Если кто-нибудь позволял себе усомниться в том, что Буденный алтаец, Урмат обижался:

— Скажи, пожалуйста, ты воевал, проливал кровь, как я?.. В конной кавалерии самого Семена Буденного ты служил или я, сынок?!

Усомнившиеся в правдивости слов дедушки Урмата делали предупредительный знак, чтобы он притих. А что до старика, он, как говорится в героических сказаниях, мог «семь дней и ночей» рассказывать о боях и походах, о своем командире.

— Ну вот, послушайте меня. Наш огнеподобный героический командир Красной Армии Семен Буденный, если хотите знать, родился в прикатунской долине, родом он из тамошних черных майманов. Да, он родился на берегу красавицы реки Катунь! Давно, в молодости, я работал ямщиком. Много раз ездил в верховья Катунь. Мне еще тогда о нем знающие люди рассказывали. — Урмат пронзительным желтым взглядом смотрел на слушателей. — В детстве Семен, слышал я, был не то чтобы хулиганистым, а шустрым, очень шустрым был мальчиком. Подумайте сами: стоит во дворе у коновязи строптивый, еще не обьеженный конь. А Семен, рассказывали, совсем-то мальчишка, вдруг сорвется с места и проскочит меж ног коня. Тот еще и шевельнуться не успевал, а уже Семен тем же путем обратно. Вот какой был мой командир. Не человек, а пуля! Не зря говорит алтайский народ: «Батыр виден в детстве, а урожай — в колоске».

— А вы виделись со своим братом, Буденным, разговаривали с ним? — интересовался кто-нибудь.

— А как же нам не встречаться, не разговаривать, если мы из одного майманского рода, а?! — удивился дедушка Урмат и с великой гордостью продолжал свой рассказ о встречах с «братом»: — С бело-бандитами сражался я сильно. Очень сильно! Догонял их и на скаку рубил их головы. И стрелком я был метким. Буденный все это примечал... И вот однажды Семен собрал красноармейцев и командиров в сосновом бору, а народу-то нас было — тьма, собрал и выступил с речью. Ох и жарким был его доклад! Слова все огненные, сильные и призывные. Мы и так сражались, как настоящие батыры, а он звал нас, кавалеристов-красноармейцев, еще сильнее уничтожить беляков, не щадить этих хвастливых болтунов. Мы все были готовы тут же ринуться в бой после такого жаркого доклада. А Семен, когда закончил, вдруг указал на меня: «А ну-ка, пропустите ко мне, товарищи, вон того черноволосого и красивого кавалериста». Я стоял далеко от командира. Кавалеристы расступились, как два берега, передо мною открылась, словно в лесу, широкая просека. Я четким кавалерийским шагом подошел к Буденному. Все затихли, ждуг, что же будет дальше...

А Семен спрашивает меня:

— Из какой долины Алтай будешь, такой боевой и бесстрашный кавалерист?

— Из Урсульской, товарищ командир, — отвечает Буденному, — деревня Кайру.

— Из какого же ты рода? — интересуется Семен.

Ну как тут промолчишь? Коль спрашивает сам знаменитый командир, я вынужден дать четкий ответ. И я даю:

— Товарищ командир, я из рода черных майманов!

О куда-бог, как только это сказал, что тут произошло! Семен, брат мой Буденный, бросился ко мне, радуется, дышит взволнованно и сильными руками обнимает меня. Клянусь, все красноармейцы, которые стояли вокруг нас, словно густой лес, видели это; поверьте, люди, мне, вашему мужественному земляку. Обнял меня Буденный и даже, как маленького, поцеловал, а потом громко, чтобы все знали, объявил:

— Товарищи кавалеристы, запомните, пожалуйста, вот этого бойца, отныне он — мой кровный брат, мы с ним из одного рода черных майманов.

А вы спрашиваете, разговаривали ли мы... Мы с Семеном в гражданскую войну дали прикурить врагам Советской власти, показали, что такое буденновцы, беляки узнали, какие батыры алтайцы, особенно из древнего рода черных майманов...

А вы говорите, виделись ли мы... Брат он мне, поняли теперь?.. Вот так-то...

Много всяких рассказов было у старого солдата, одиноко коротавшего свой век.

Позже я узнал, что он действительно служил в кавалерийской части, и было это где-то в Забайкалье, но было уже в конце двадцатых годов. Узнал и о том, что дядюшка Урмат принимал участие в событиях на китайской военной железной дороге. Но сам он об этом никогда не рассказывал.

Вот что это был за человек, дедушка Урмат — дядя друзей моего детства Борбок-Кары и Аткира.

...Аткир еще долгие дни играл на комусе и шооре около юрты Чергий. Любовные муки, как острозубые щенки, по-прежнему грызли его сердце. Когда ему стало совсем невмоготу, он послушался совета матери: поехал к дяде Урмату.

— Засватайте мне невесту, дядя, — без предисловия заявил он, едва перешагнув порог юрты.

— Чо! — Урмата будто бичом ударили. Он удивленно посмотрел

на Аткира. — Коль захотел жениться, значит, выздоровел совсем и не умрешь. Обожди, племянник, на ком же ты решил жениться? На русской или алтайке? — поинтересовался Урмат и, не дождавшись ответа, изрек: — Я тебя научу! — Но тут же спросил у Аткира: — Скажи мне, ты уже какой-нибудь шаг сделал или сначала прибежал ко мне?

— Да делал...

— Что?

— Играл на шооре...

— Эйт, «на шооре»! — передразнил дядя. — Этим, парень, ничего не добьешься. Современных девушек не шоором сватают, понятно?..

— А как, дядя, скажите!

— Разные бывают подходы к женщинам, парень. — Урмат потерял усы, набил самосадам свою трубку и надолго замолк.

Аткиру невтерпеж, ему хочется скорее получить ответ на свой вопрос, он торопит:

— Ну, дядя, помогите мне, научите, как сосватать девушку?!

Урмат покурил еще и начал:

— Кому же еще я передам свой опыт, если не племяннику? Сядь поближе и слушай повнимательней. Так вот, если хочешь жениться на русской, то прежде всего посмотри на ее огород: богат ли, беден ли, что там растет... Узнай имя хозяйюшки, то есть невесты. Познакомившись, не поленись и посчитай, сколько свиней и кур держит. Почувствуешь, что все у нее ладно в хозяйстве и женщина собой гладкая, забудь про смущение, скажи ей тут же прямо: «Я вас люблю!» Горячо скажи, сильно скажи. Вот и все. И еще: у мужчины, который приехал свататься, в кармане не должно быть пусто. Во всяком случае карман должен держаться хотя бы первые два-три дня. И с пустыми руками не вздумай явиться! В нужный момент надо и выпить... Но в меру!

— Может, дядя, мне в лавку сходить? — Аткир встал. Он уже понял: разговор с дядей будет долгим.

— Сядь, сядь, еще успеешь! — приказал Урмат племяннику. — Еще раз предупреждаю: на два-три дня в твоём кармане должны быть денюжки, хотя бы на показ. Держи себя человеком состоятельным. И если лицо женщины похорошеет, на нем появится улыбка, и тем более, если она начнет угощать тебя чаем, считай, что дело идет! Не торопись сесть за стол и пить чай. Сперва скромно поставь бутылочку, а рядом положи заранее купленные конфеты-санфеты. Не скупись! Хотя и беден твой карман, пусть она думает, что ты богат. Только кончится бутылочка, предложи услужливо: «Может, еще принести?» Говори с ней ласково. Ничего не жалея! Помни, придет время — все будет твоё: и огород, и свиньи, и куры...

— Дядя, ведь я не на женщине хочу жениться, а на молодой девушке, алтайке, — не выдержал Аткир.

— Хм-хм, — кашлянул Урмат, как бы прочищая горло. Дымя трубкой, задумался, посмотрел на небо через дымоход юрты. — Надо было, парень, сказать сразу, что ты хочешь жениться на алтайке. Для алтайских женщин у меня другие приемы...

— Дядя, да я хочу жениться на молодой девушке! Она не была замужем!

— Вот! — воскликнул Урмат. — Значит, строптивую выбрал, а?! Я-то сравнивал тебя с собой, учил, как сватать вдовушек. — Урмат, выбивая пепел из трубки, легонько постукивал ею о негорящий конец головешки. — Да, дорогой мой племянничек, где, где моя молодость, времечко мое!.. Ну на кого же ты глаз положил?.. А я, грешным делом, почему-то подумал, что ты собираешься жениться на Арамай.

— Дядя, зачем мне Арамай? — возмутился и обиделся Аткир. — У нее же растет суразенок.

— А что тут такого, чем ребенок виноват? — рассердился не на шутку Урмат. — Как я погляжу, так тебе больше и подходит Арамай,

младшая сестра табунщика Яры. А насчет ребенка ее даже не заикайся, парень. Ребенок тебе на шею не сядет!

— Дядя, я хочу засватать Чергий, — решил прекратить этот неприятный разговор Аткир.

— Ы! Чергий, говоришь?.. Это младшая дочь моего друга Карамая, что ли?.. Так, яснее ясного. Ты сделал верно. На шооре ей можно и даже нужно было играть. Пусть тает и смягчается ее сердце.

— Дядя, не тает! Как лед, ее сердце, и потому я пришел к вам.

— Обожди, племянничек, объясни мне: как ты, на коне к ней ездил или так, пешочком нес туда свой горб?

— Дядя, какой конь?! Ферма рядом, а вы о коне. Конечно, ходил пешком...

— Пешком?.. Это никуда не годится! — Урмат сгоряча приподнялся было и тут же опустился на свое место. — Пешком! Кто, когда и где смог покорить сердце девушки, если ходил к ней пешком?! К красавицам полагается являться на коне, дружок. И конь чтоб плясал под седлом, едва касаясь копытами земли-матушки. Алтайской женщине по душе лихой джигит на быстроногом скакуне. Запомни это. А ты ведь и работаешь табунщиком, не так ли? Тебе все карты в руки!

— Попробую к ней прискакать на коне, — быстро согласился Аткир. — А сватать как, дядя?

— Вот именно! На коне! — обрадовался дядя Урмат первой своей победе. — И найди для нее такие слова, чтобы сердце расколосось, как лед весной.

— Какие слова говорить, я ведь за этим к вам и пришел?!

— Вот послушай. Не зря раньше учили молодежь, чтобы слова мудрецов собирали в мешок, — считая себя мудрецом, загордился Урмат. — Сердца алтайских женщин требуют особого колдовства, парень. Послушай, вот древнейший метод. Подведешь к ней на отличнейшем иноходце. Слезь с коня. Поздоровайся. Спроси, какого она рода-племени. Не забудь в свою очередь о своем сказать.

— Ну, дядя! — перебил Аткир. — Я же род Чергий знаю давно. И она мой тоже.

— Эйт, не перебивай! — Урмат строго посмотрел на Аткира. — Коль все знаешь сам, зачем ко мне явился?

— Молчу и слушаю...

— Вот, будь скромным. Не лезь вперед. Дальше слушай... Поздоровавшись с нею, старайся долго не отпускать ее руки. Мягким, воркующим голосом скажи ей, мол, какие у вас теплые и мягкие ладони, и при этом смотри ей прямо в глаза. Скажи: глаза ваши, как звезды, лучистые. И дальше, дальше все тем же макарком. Быстроту ее ног сравнивай с ветром в чистом поле. Не давай передышки. Вытащи и преподнеси свой подарок. Например, кольцо из белого серебра или плат какой... В общем, племянничек, сам разумеи. Раньше, например, было так: увидит влюбленный у возлюбленной кисет или носовой платочек, тут же, без разрешения, правдами и неправдами забирает его себе. И ты так сделай, отними у нее что-нибудь, а захочет отнять — не отдавай, беги в безлюдное место. Она — за тобой, а ты — в кусты... И дальше, и дальше! А там все выяснится.

— Нет, дядя, — Аткир тяжело вздохнул, — я так не могу...

— В таком случае мне все ясно. — Урмат махнул рукой. — Лучше тебе сватать Арамай.

— Не нужна мне Арамай, — чуть не плача сказал Аткир.

Урмат сжалился:

— Ну что с тобой делать?! Если сам не можешь, я тебе засватаю Чергий.

— О куда-бог! — радостно воскликнул Аткир. — Неужели это правда! Дядя!..

— Как это «неужели»? Будет так, коль сказал! Перед тобой цело-

век, который умеет покорять сердца молодых. Только терпи, засватаю и приведу в юрту твою Чергий.

— Может быть, дядя, мне сходить в лавку, а?

— Вот теперь можно. Это хорошо, самый момент отметить. Слово! Она будет твоя! Хотя старик я, но методы мои пока не устарели.

Аткыр поверил дяде, легко и быстро перепрыгнул через порог юрты Урмата, вскочил на своего смиренного коня и стрелой полетел по единственной улице Кайру к магазину. Куда уж там пешком!.. Чувство радости захлестывало Аткура. Ему хотелось поскорее очутиться в горах и огласить родные просторы вдохновенной песней своего комуса...

Пожелтели ветки лиственниц. Не выдерживая даже легкого ветра, они падали на сырую землю. Длинная спина горы Яну уже побелела от снега. Утром и вечером в Актеле дыхание воздуха становилось холоднее, серебристым инеем покрылась земля.

— Ич-и-ка-ей, — говорили алтайцы, чувствуя приближение холода. — Зима уже опустила на горы свои белые ноги.

Глаза солнца тускнели, шея дня становилась все короче. Приближалось время перекочевки на зимнюю стоянку. Приближалось время занятий в школе.

Но лето еще напечалит о себе. Придет благодатная пора бабьего лета. Оно, как дар самой природы, — лето прощается с людьми и скотом.

Осень... Веет какой-то печалью.

Как не хотелось мне уезжать в город в те августовские дни, когда актелские доярки шептались о предстоящей свадьбе Аткура и Чергий! Сердце болело от непонятной тоски. Хотелось быстрее в город, и никак не мог я расстаться с домом, не мог не видеть Чергий.

— Тетушке Кажакая достается хорошая сноха, — радовались за страдавшую мать ее подруги — наши добрые доярки.

— Как мы были неправы, когда считали Урмата вруном, — осуждали себя виноватые. — Ведь он лучшую девушку засватал своему племяннику. Подумать только, такую красавицу...

Какие слова сказал Урмат Чергий, когда с нею встречался, никто не знает. И поэтому разговоры были всякие, говорили и недоброе, и без зависти не обошлось:

— Дело это не совсем простое: Чергий ведь не любит Аткура, а дала согласие... Разве не удивительно?!

— Не поймешь, что за язык у этого Урмата! Похоже, слова его тают, как масло, а прилипают, как смола.

— Он, наверное, знает колдовское дерево, — поправляя свои длинные черные волосы и искоса глядя на собеседниц, говорила Кыйгас. — Говорят же, что где-то в горах встречаются колдовские деревья...

— Может быть, может быть, — легко соглашались с ней женщины.

— Тпфук! — не выдерживала, вступала в разговор всегда молчаливая тетушка Кару. — Что это за невеста, чтобы ее выменять на родную мать или брата? Хорошо, что Борбок-Кара в армии, не знает все это.

Слова тетушки Кару были небеспопеченны. У алтайцев существует такая легенда. Кто найдет колдовское дерево, должен срезать с него кусочки коры, раскрошить ее, подмешать в еду или всыпать в питье тому, чью голову хочешь вскружить, и, прошептывая магические слова, подать это питье или эту еду избраннице (избраннику). Можно, раскрошив кору и перемешав ее с табаком, набить им трубку и подать ее с теми же магическими словами ей или ему, если они курят.

Колдовское дерево почти мгновенно приворожит человека. Но только, говорят, тому, кто воспользуется корой этого дерева, не миновать беды и несчастья. И не только скот его будет падать. Говорят, из-за

колдовства может на тот свет уйти близкий человек. Страшно это! Лучше не трогать колдовское дерево, не подходить к нему...

Все эти толки и разговоры не могли пройти мимо ушей Кажакай. Поэтому она пошла на верхнюю ферму, чтобы лично встретиться и поговорить с самой Чергий.

— Говорят, что ты согласилась стать моей снохой, Чергий, правда это или...

Девушка смотрела на мать Аткыра почтительно.

— В твоих глазах не нахожу радости... — Кажакай тяжело вздохнула и покачала седеющей головой. — Значит, я зря поверила своему старшему брату?

Разговор этот состоялся рано утром, Чергий только вывела пасти своих телят. Таежные травы и кусты были мокры от утренней росы. От росы почернел и подол длинной юбки Чергий.

— Все теперь стали культурными, — печально засмеялась девушка, глядя себе под ноги. — В Кайру не осталось парня, за которого можно было бы выйти замуж. Все учатся, будто хотят на небо взлететь.

— Я ведь вижу, нет радости в твоих глазах, — повторила Кажакай. — Может быть, ты решилась выйти за моего сына, не найдя в Кайру культурных парней, а?..

— Может быть, — Чергий, не глядя на тетушку Кажакай, шумно вздохнула. И вдруг засмеялась: — Жди их, культурных, так и составишься! — Она опять погрустнела и дерзко призналась: — Недавно был тут один культурный, обещал, что увезет, и след простыл. Никаких вестей...

Чергий говорила обо мне...

— Что же нам делать? — пытала Кажакай. — Готовиться к свадьбе? Говори откровенно.

Чергий долго молчала. Она смотрела вниз, пальцами босых ног срывала холодные мокрые цветки и траву.

Кажакай опять заговорила:

— Аткыр день и ночь тоскует по тебе, скоро высохнет...

— Что делать, — Чергий снова вздохнула, — раз уж начали готовиться, то готовься...

Вскоре люди срубили молоденькую белую березку и прибили ее к дымоходу юрты Аткыра. Это древний знак того, что скоро в этой юрте будет свадьба.

И вот долгожданный день близок: завтра будет той — свадьба Аткыра. Такое не каждый день бывает. Зашевелились, загалдели люди. Кто-то варил араку из чегеня — квашеного молока. Гулко стучали там и тут ступы, обдирая ячменное зерно для мясного супа.

Жизнь вокруг хорошела с каждым днем. Стыдно было делать плохую, бедную свадьбу. Решили зарезать не одного, а трех баранов. Возле юрты Кажакай сооружали из камней таган для казана — большого котла. И рыли большие ямы, чтобы в них разжигать огонь и в огромных котлах варить мясо.

В день свадьбы Аткыр был разговорчив как никогда, шутил, улыбался. Его серые глаза были переполнены радостью. В голубой рубашке и черных брюках, весь искрящийся счастьем, Аткыр был даже красив. Как главный виновник торжества, он сновал туда-сюда, помогая, подсказывая, слушая, спрашивая. Уши его не пропускали мимо ни слова, ни звука. Память отлично помнила необходимое в эти волнующие минуты. Глаза видели все, что происходило вокруг юрты и за ее пределами.

— О, по перевалу Кадыргат спускаются трое верховых! — первым заметил он. — У них высокие шапки с кистями, значит, эти люди из Оймонской долины.

Кайрунцы посмотрели в сторону перевала и действительно увидели подъезжающих верхом гостей.

— Весть о моей свадьбе дошла и до Оймона, — горделиво сообщил Аткир. — Хорошо, что много будет гостей.

— Это я оповестил всех дальних и близких родственников, — похвастал дядя Урмат. Он взгляделся во всадников: — Не Максим ли это? Конечно, он. Я специально просил его приехать, уж он-то повеселит гостей на твоей свадьбе, племянничек. Такого танцора второго не найти! Я сообщил ему о твоем..

Двое из приехавших были женщины. Их тут никто не знал. А третьим оказался действительно Максим, оймонский солдат, которого знали все, так как он не раз здесь бывал.

— Видишь, какие глаза у твоего дяди, глаза кавалериста: острые и пронзительные! — Урмат хлопнул Аткира по плечу.

Несколько лет назад Максим лихо отплясывал на свадьбе Чомый и Токтона и тогда сказал жениху:

— На твоей красавице должен был я жениться, но ты опередил меня, молодец! Чомый — девка отличная! Но мы с тобой, Токтон, фронтовики. Прощаю тебе и не сержусь! Живите хорошо, будьте счастливы.

И вот подросла Чергий. Сегодня ее свадьба..

На эту свадьбу плясун прибыл в черных, а не в красных, как ходил до сих пор, сапогах. Но и они начищены до блеска. Как зеркало, сверкают. На нем галифе и китель из темно-синей диагонали. На голове — барашковая черная кубанка. Женщины, прибывшие с ним, в алтайских расшитых шапках.

Навстречу гостям первым по праву шагнул Аткир:

— Спасибо, что приехали, гости дорогие. Коль успешно осилили большие перевалы, одолели опасные реки, примите участие в моей свадьбе.

— А-а-а, свадьбу, оказывается, ты делаешь, паренек?! — Максим изумленно посмотрел сверху вниз на Аткира. Он хотел было еще что-то сказать, но передумал.

— Свадьбой руковожу я, невесту привел к согласию тоже я! — тут как тут явился перед гостями Урмат. — Людей, прибывших издалека, пригласи, племянничек, в юрту, где будет свадьба, угости. Пусть отдохнут хорошенько.

Женщины, готовившие мясо и другие угощения для свадьбы, с радостью встретили гостей. Подали им лучшие куски, поставили арачку. Гости поели, выпили немного арачки и встали, намереваясь отправиться в путь.

— Куда так торопитесь? — удивилась мать Аткира. — Ночуйте сегодня у нас. Если какие дела в деревне, завтра можете завершить. Максим, ведь ты хороший плясун, остался бы, а? — Кажакай добрыми глазами смотрела на знакомого человека. — Поддержи свадьбу моего сына. Попляши на ней, пусть люди радуются, сынок... Мы по древнему обычаю опояшем тебя красным расшитым кушаком.

— Останься, Максим, на свадьбу придут красивые девушки из Кайру, — приглашал Урмат. — Если захочешь, одну из них я лично тебе засватаю, а?

— Некогда, торопимся, — одна из них вежливо вступила в разговор. — Максим, время идет, поехали..

Гости попрощались, вышли из юрты, на дымоходе которой шелестела на ветру белая березка, и направились к коновязи. Их провожали Урмат, Аткир и тетушка Кажакай.

— Ну, паренек, до свидания, — перед тем как сесть на коня, Максим протянул руку Аткиру. — Не обижайся, что не поплясал на свадьбе твоей..

Гости уехали. А люди продолжили подготовку к торжеству. Кто-то шел за водой, кто-то шагал навстречу с полными ведрами на коромысле... Одно слово — свадьба, хлопот предостаточно.

К вечеру через верхний восточный перевал спустился тот самый

табунщик Яра, который когда-то белым чумбуром бил Борбок-Кару. Ныне он пас своих коней в благодатной долине Тагорюк меж Оймоном и нашим Кайру. Он, не слезая с коня, спросил у старика Урмата:

— Мне говорили, что Аткир женится на Чергий, выходит, наврала, а?.. Значит, Аткир женится на какой-то другой, да, дядюшка Урмат?

— Как на другой? — на вопрос ответил вопросом Урмат. — Невеста находится в назначенной юрте. А сваты наши уехали к родственникам невесты. Там уже начались, наверное, предсвадебные угощения.

— В какой назначенной юрте, — удивленно расширились маленькие глаза Яры, — если я видел ее с оймонским Максимом, они ехали мне навстречу?!

— Еще что ты придумашь, а, парень?! — разозлился Урмат.

— Чергий с Максимом теперь уже за перевалом, подъезжают, наверное, к Ак-Кобы — родной деревне Максима, — простодушно сообщил Яра. — Если мне не верите, проверьте, там ли невеста, куда ее посадили.

— О чем он болтает? — Кажакай беспокойно оглянулась на тех, кто был рядом. — О куда-бог, разве возможно такое?!

— Ты решил поиздеваться надо мной! — Аткир быстро нагнулся, схватил с земли камень и с силой бросил в Яру, но не попал. — Ты... Ты... — Аткир потерял дар речи.

Урмат, умея удивлять, сам мало когда удивлялся. Но сейчас и он не знал, что делать.

— Как же это так, правду ли ты говоришь, Яра?

— Говорю же, проверьте в назначенной юрте, там ли Чергий, — сердито повторил Яра, пришпорил коня белым чумбуром и помчался в деревню.

— Повешусь! — безумно заорал Аткир.

Его остановил дядя Урмат.

— Не торопись, племянник, обожди, — тихо сказал он поникшим голосом. — Сперва действительно надо удостовериться, на месте ли она. А вдруг Яра с какой-то целью нарочно сказал...

Урмат сел на коня и умчался. Вскоре он вернулся. Люди, ждущие его возвращения, сразу догадались по его виду, что Яра сказал правду.

На Атыра страшно было смотреть: безумными и бессмысленными стали глаза, лицо белое.

— Дайте мне ружье! — кричал он. — Я догоню эту оймонскую собаку и пристрелю обоих!

— Что же делать? — потеряла голову тетушка Кажакай. — О куда-бог великий, это же позорище! Кто проклял моих сыновей? Может быть, они нарушили предначертания судьбы, полюбив родных сестер, дочерей чернобородого Карамая?..

Немного опомившись, Урмат позвал в юрту Кажакай и обезумевшего Атыра. В их разговоре посторонние не участвовали, но позже все стало известно.

— Оказывается, этот в красных сапогах из Оймона не человек, а монгус-дьявол восточный! — ругался и проклинал Урмат. — Обожди, получит он от меня!

— Через гору не стражай кулаками! — Нервно и зло выговаривала Кажакай брату. — Человек, опозоривший всех нас, не он, а только ты, больше винить некого.

— Ладно-ладно, — резко махнул рукой старик. — В такой момент надо идти только напролом, племянник. Опять-таки придется мне помогать тебе, Атыр...

— Что увидели мои сыновья в этих сестрах! — причитала тетушка Кажакай. — Досталась же мне злая доля, чтобы выкормить собственной грудью и вырастить таких безумцев! Опозориться перед всем народом! Как же это понять, за что такой стыд?! Хорошо хоть, Борбок-Кара в армии...

— Не совсем плохи наши дела, — вдруг попытался улыбнуться Урмат. — Свадьбу надо продолжить, Аткаыр... А как ты считаешь, Кажакай, сестричка моя? — словно издеваясь, спросил он у бедной матери несчастного жениха.

— Упустил невесту, о чем теперь болтать! — злыми глазами сверкнула сестра на брата. — Мало этого позора...

— Не поняв мудрость мудреца, ты зря не кричи, Кажакай! — Урмат не отступал от какой-то своей тайной идеи. — Кто тебе сказал, что нет в Кайру девушек, кроме дочерей моего бывшего друга Карамая?..

Мать Аткаыра подозрительно посмотрела на Урмата.

— Нам хватит и этого позора перед всем народом! Где та невеста, которую ты привел своему племяннику?!

Урмат словно ждал такого упрека.

— Одновременно я сватал сразу двух невест, — он уже спокойно выпускал дым из своей трубки, будто ничего не случилось. — Другую я оставил в запасе, сестренка. Она ждет нашего Аткаыра...

— И-та-та-гай! — брезгливо воскликнула тетушка Кажакай. — Старик уже, а болтаешь что попало! Противно даже слушать...

— Я ведь говорил тебе, племянник, об Арамай...

— Хватит о ней! Я не женюсь на Арамай! — Аткаыр, сидевший до сих пор тихо, вскочил как ужаленный. — Повешусь!

Он ринулся к двери юрты, но Урмат поймал его за руку.

— Ты меня этим не пугай! — твердо и сердито сказал дядя. — Сперва послушай старого опытного кавалериста. Потом, если захочешь, успеешь... Сегодня мы должны найти выход, снять позор, понял меня? Никто не хочет привязать тебя навеки к Арамай, понятно?.. Будь ловким и хитрым. — Урмат перешел на шепот: — Сделаем ладом. Если с ней не хочешь жить, то когда пройдет свадьба, утихнут толки, оставь Арамай. Найдешь подходящую для себя, сделаем новую свадьбу... — Он повернулся к Кажакай, молча прося материнской поддержки. — Арамай растит ребенка, она не откажется. Ей тоже надо смыть свой девичий позор.

— Джигиты Кайру начнут потом насмеяться надо мной, что на такой женился. — Аткаыр смотрел то на мать, то на дядю. Они в свою очередь тоже посмотрели друг на друга и понимающе кивнули друг другу. — Может быть, ради того, чтобы смыть свой позор... — нерешительно сказал Аткаыр.

— Ну и хорошо, это идет! — обрадовался Урмат и подошел к Аткаыру. — Учись жить у дяди! — Он притянул племянника к себе. — Арамай очень работающая, — зашептал он. — Ты на внешнюю красоту и на возраст не обращай внимания. Как работает — вот что главное. Если женишься на Арамай, и мать немножко отдохнет. Кроткая, уважительная жена будет. Будет доить коров, шить. Чистым будешь, теплые одежды сошьет она тебе. Вот таков мой метод, племянничек.

Такой двухступенчатой была свадьба у Аткаыра. Можно сказать, когда сгорела первая ступень Аткаыровой любви, начала работать вторая.

Все, что случилось, трудно объяснить. Жизнь движется своими тайными путями...

Так братишка нашего друга и предводителя Борбок-Кары стал уважаемым сватом табунщика Яры. Если бы Яра заранее знал, что Борбок-Кара в будущем станет сватом его, конечно, не бил бы его по голове и голой спине, оставляя бугристые следы. Следы его чумбура должны были бы лечь на мою голову за мой обман. Что теперь сделаешь, то было давно...

Аткаыр и Арамай до сих пор живут мирно и дружно. Есть у них внуки, и не все дети их еще вышли замуж и женились. Детей у них много. Какими путями пойдут их любовь и судьбы — пока никому неизвестно.

Эй, великая жизнь, ты бы объяснила и подсказала, что такое любовь, что за сладкое и горькое это чувство?..

Странная любовь двух братьев, Борбок-Кары и Аткира, к двум сестрам до сих пор удивляет меня и до сих пор я не могу разгадать ее загадок...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ — рассказ о тревожной ночи

В больнице я пролежал месяц. Выписываться было еще рановато, но у жены подошло время родов, и меня отпустили с условием, что дома я еще полежу, полечусь.

Как мы с женой ждали дочку! Мечтали, вот она родится, подрастет, порадует первыми шагами, смешными словами. У нее на головке будет белый бантик. Будет дочка черноголовой, похожей на мать...

Вернувшись домой, я уже назавтра проводил жену в роддом. Хлопоты, а потом томительное ожидание вымотали меня.

— Как там, кто у нас родился? — не раз звонил я в роддом, беспокоя медицинских сестер.

— Пока никого нет, — равнодушно отвечали мне. — Рано еще...

Положив трубку, хотел было отойти, но тут раздался звонок. Слышу голос жены:

— Сейчас же расстегни все пуговицы!..

О, я совсем забыл об этой примете: если расстегнешь на всех вещах пуговицы, роды облегчатся.

Так уж устроен человек — в критический момент верит всему. Я не только пуговицы, все узлы на всех своих галстуках развязал.

Опять жду, какую же новость сообщат из роддома. Ведь новый человек на свет появляется. Это не шутка.

— Как там, родился кто или нет? — звоню дежурной сестре.

— Поздравляю вас сердечно! — отвечает она радостным голосом. — Поздравляю с рождением сына! Крепкий парень — три триста! Еще раз с сыном!..

Опять родился сын. Третий сын. Стал я теперь отцом трех мужчин!.. Ну что ж...

Тороплюсь, кладу в сумку банки с компотами, молоко, какую-то еду. Мужчина есть мужчина. Оставшись один, он не знает, что делать по дому. Старший сын уехал в Москву; у него начались занятия в институте. А средний сын в походе. Зная, что мне еще нужна помощь и что вот-вот появится на свет новый член нашей семьи, сын отказывался идти, но они так давно собирались классом в этот поход и так хотелось пойти сыну, что мы с женой настояли, чтобы он обязательно отправился с ребятами. Поэтому остался я в квартире совершенно один. Сын вернется завтра к вечеру, а сейчас, он, наверное, распевает песни у костра и не знает, что у него есть теперь еще один брат...

Отнес жене передачу. Через дежурную сестру попросил, чтобы жена написала записку, что ей еще надо и что мне делать.

Ближе к вечеру, когда за окном стояли уже осенние сумерки, я решил справиться о жене и сыне. Набрал знакомый номер. О великий бог! Сестра, уточнив мою фамилию, сказала такое, что я уронил трубку. Нет, она не слова сказала, а выстрелила в меня. По всему телу будто прошел сильный ток — я потерял сознание!

Не помню, как долго находился в таком состоянии. Когда пришел в себя, мне показалось, что все кругом рушится, весь мир падает в какую-то пропасть. Смотрю и кажется, стены квартиры стали сумрачным стеклом. И туманные сумерки за ним кружатся и тонут в темноте. Ни ногой, ни рукой не шевельнуть, отнялись, что ли?.. Нет ощущения и мысли. Вдруг слышу какой-то звук: «Кын-кын-кын». Подумал, что где-то далеко плачет ребенок. Я похолодел, но через какое-то время меня

бросило в жар. Плач по-прежнему продолжался. Кто-то плачет, зовет на помощь.

Вдруг я догадался, что не положил на место телефонную трубку, и теперь в темноте раздаются ее сигналы.

Что произошло со мной?.. Я отчетливо услышал тот самый проклятый голос дежурной сестры. «Это вы? — спрашивает фамилию. — Ваш мальчик только что скончался, а жена... жена находится в очень тяжелом состоянии...»

Что там случилось?.. Только недавно, днем, было все хорошо. Что мне теперь делать? Кто мне поможет, кто даст совет?

Вскочил я с места, и тут же показалось, что кто-то ослепительно ярким фонариком осветил мое лицо. Не выдержал я и закрыл ладонями лицо. Что это, кто светит? А может быть, это вовсе не свет, а темнота? Нет, это что-то другое. Передо мною возникло доброе лицо знакомого человека. Это... это лицо Ольги Петровны, моего врача. Она мне поможет!..

Я встал, включил свет и набрал номер домашнего телефона Ольги Петровны. Как хорошо, что она дома. Услышав мой взволнованный голос, выяснив все, что произошло, сказала: «Подождите, сейчас проверю».

Ярко горят лампочки в моей квартире. Я зажег их во всех комнатах. Но кажется, что покрыт я черным одеялом прежних сумерек. В теле какая-то тяжесть. Неожиданно кто-то отчаянно закричал. Я со страхом вскочил. Кто это так надрывно кричит?.. Это телефон кричит, а я не могу поднять трубку. Смотрю на него, а он на глазах вдруг превращается в черную кошку с зелеными глазами. Закрываю руками уши, чтобы не слышать. Теперь аппарат говорит голосом той медицинской сестры: «Это вы? Ваш сын только что скончался, а жена... жена в очень тяжелом состоянии...».

Сколько прошло времени — не знаю. В квартире снова мертвая тишина. Ни единого звука. Я вскакиваю, быстро одеваюсь и бегу вниз по лестнице, а во дворе вижу какую-то машину.

— Куда вы бежите? — останавливает меня Ольга Петровна. — Все неправда. Медсестра напутала. Жив ваш сын и жена здорова. Куда вы рветесь? Говорю же, что все хорошо...

Будто не узнаю Ольгу Петровну, смотрю на нее удивленными глазами, ничего не могу сказать.

— Час поздний, — слышу голос Ольги Петровны. — Вас не пустят сейчас в родильный дом. Успокойтесь, я все вам расскажу и объясню.

Мы поднялись на пятый этаж и зашли в квартиру. Она, войдя в дом, отдышалась и, посмотрев на меня голубыми глазами, улыбнулась:

— Я вас от души поздравляю еще с одним сыном! — Она протянула мне свою небольшую ладонь. А я ничего не могу ответить, тупо смотрю на нее. Ольга Петровна опять повторила: — Вы успокойтесь. Дежурная сестра перепутала. Все у вас хорошо.

Я не могу почему-то поверить. А Ольга Петровна, понимая мое состояние, продолжает терпеливо объяснять. Она сама съездила в родильный дом, видела мою жену, говорила с ней, посмотрела на сына моего и оттуда позвонила мне домой, а я не поднял телефонную трубку. Пока она все это мне рассказывала, опять раздался телефонный звонок. Я рванул к телефону, но опять остановился испугавшись.

— Берите, берите трубку, звонит ваша жена, — говорит Ольга Петровна. — Я договорилась, она должна звонить...

Все же я не решался. Она сама подняла трубку:

— Это я, — ответила она, — Ольга Петровна. Да, тут, дома. Не верит. И потому не подходит к телефону. Ну, подойдите же, поговорите сами. Все нормально. Только недолго...

Услышав голос жены, я почему-то разозлился:

— Что за шутки? Что за игра?!

— Сейчас же перестаньте кричать! Что вы делаете? — испугалась Ольга Петровна.

— Я поздравляю тебя с сыном, — слабым голосом ответила мне жена. — У нас все в порядке, не волнуйся...

Когда я извинился перед женой и повесил трубку, Ольга Петровна улыбнулась:

— Порядок? Успокоились? — И вдруг поинтересовалась: — Есть у вас в доме кофе? Дайте-ка я сварю...

Почти до утра я не мог уснуть. Иногда чудилось, что опять кто-то звонит и сообщает мне о смерти сына. Голову накрыл одеялом, стараясь уснуть, но все равно ничего не получалось. Тень страха появлялась и стучала в окно, говорила голосом сестры: «Что вы лежите, умер ваш сын. Умирает ваша жена...». Наконец стали серыми окна. Я забылся.

Опять зазвонил телефон. Я испуганно дернулся. Потом вспомнил вчерашнее и торопливо поднял трубку.

— С добрым утром, отец! — слышу ласковый голос жены. — Мы хорошо переночевали. Сын передает тебе привет. На кого похож?.. Конечно, на тебя, на кого же еще...

Сейчас маленький мой человечек, сын мой, и жена уже дома.

В один из обычных дней раздался звонок в нашей квартире. Взяв трубку, я сразу же узнал голос своего врача.

— А-а, якшилар—здравствуйте, «солома волос, ресниц синева!..». Как поживаете, в гости просим...

— Как назвали сына?

— Зовут его Темир, — докладываю ей. — А почему именно так, объяснить пока не могу.

Так появился на этот древний свет мой третий сын. Он родился в тот год, когда не стало моей матери. Постоянно помня и говоря о ней, я написал «песни любви и печали о материнском сердце». Вот одна из песен:

Мама, на этом свете продолжают качаться колыбели,
Шьются опять мягкие новые пеленки.
Горы белеют. Волны морей беспокойны, как всегда.
Вырастают травы, зеленеют просторы.

Мама, был у меня брат Темир,
Красоту мира не увидев, ушел он в другой мир.
Ночами я кричал и плакал: «Темир, Темир!»
Днем среди мальчишек его не находил.

Мама, утром сегодняшним по-новому восхищаюсь:
Еще один сын мой появился на земле.
Чтобы он жизнь прожил за моего брата,
Сыну дал я его имя.

Может быть, эту мою новую книгу когда-нибудь прочтет хороший врач и женщина с прекрасным сердцем, поймет, почему дал я такое имя своему младшему сыну, и, возможно, вспомнит ту тревожную ночь. Вспомните и будьте счастливы всегда, дорогая Ольга Петровна!

**ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ,
в которой еще раз необходимо вспомнить
о русском хлебе дедушки Папая
и о возвращении Борбок-Кары из армии**

По звонку в дверь я сразу угадал, что это кто-то посторонний. Напи так долго и беспрестанно не звонят. Открыла жена: ее с сыном накануне выписали из роддома. Я узнал гостя по голосу: появился Борбок-Кара.

— Сюда, сюда проходи, Борбок-Кара! — кричу я, приподнявшись с постели: я опять занемог, сказались все волнения.

Когда я выписался из больницы, он еще лежал. Недаром ведь говорят: пришло горе — открывай двери шире. Удивительное дело: Борбок-Кара почти вылечил свой остеохондроз и собирался уходить, как он сам говорил, «из курорта», а тут зашевелился его аппендицит. Сделали операцию. Видно, болезнь как найдет однажды человека, начнет атаку на него и долго не отпускает. А может быть, Борбок-Кара берегла судьба: пусть, мол, заодно вылечит и другие свои болезни. Ведь если бы приступ случился в урочище Кайру-Бажи, куда бы он пошел?..

И вот Борбок-Кара сидит в моем доме, рядом со мной.

— Ты очень плохо выглядишь, парень, — заметил он. — А я выздоровел, стал, как бык. Наверно, до меня дошли благие пожелания моих овец, — смеется он. — Они ждут не дождутся моего возвращения...

Жена моя принесла и поставила около кровати низенький столик, накрыла угощениями. Когда она вошла с графинчиком водки и по алтайскому обычаю преподнесла его Борбок-Каре, тот удивленно посмотрел на нее взглядом другого Борбок-Кара — хитрого и коварного.

— Нет, милая, водку свою подалеже убери, — сказал он. — Когда болеет друг, как я позволю себе пить?! Неужели я совесть потерял?

— У нас сын родился, — говорю ему.

— Вот это по-литика! — воскликнул он. — Как говорится в народе, человек перед прыжком в старость может еще стать шаманом, так и вы... Коль так, — улыбнувшись, Борбок-Кара бережно, соблюдая обычай, двумя руками взял графин из рук жены, — не откажусь. В этой по-литике есть большая причина.

Он налил в пиалу водку, пригубив, поставил на стол и сказал:

— Значит, говоришь, у тебя три сына. А у меня нет детей...

— А у Аткира сколько детей?

— О! Полная юрта...

В это время я вспомнил, как Борбок-Кара вернулся из армии, о русском хлебе деда Папая.

...Тогда Борбок-Кара заехал в город и пришел ко мне. А я уже был настоящим взрослым парнем — учился в седьмом классе, было мне 17 лет. Жил я в интернатском общежитии.

Был осенний вечер, когда ребята привели в нашу комнату Борбок-Кару. Я, конечно, обрадовался, поздоровался с ним за руку. Вижу, другим стал мой друг.

В серой солдатской шинели он показался мне высоким. В кирзовых новых сапогах. На голове высокая фуражка. Не понравился лишь его брезентовый ремень.

В то время была мода у нас — показывать гостям свой альбом. У всех учеников, живущих в интернате, были альбомы с фотографиями друзей. Среди ребят были даже свои фотографии.

Мы с Борбок-Карой смотрели мой альбом, вспоминали Кайру, земляков. На одной фотокарточке я был в галстук. Борбок-Кара, увидев этот снимок, как-то странно посмотрел на меня и, удивляя меня и окрививших нас ребят, спросил:

— Ба, когда же ты успел стать коммунистом, Барыс?!

Что я ему объяснил тогда и как вышел из этого смешного положения, конечно, сейчас не помню. Борбок-Кара, видно, думал, что тот, кто носит галстук, член партии. Не знаю, думает ли он сейчас по-другому или же по-прежнему, — я не поинтересовался. Как-то неловко...

Потом мы пошли к Паше. Он тоже жил в городе. Паша не пропустил в занятиях ни одного года и теперь поступил после семилетки в педучилище.

— Хочу посоветоваться с Пашей и с тобой об одной большой политике, — по пути сообщил мне Борбок-Кара. — Ай, жизнь, жизнь — какая трудная по-литика!..

— Может, я один могу помочь тебе, а? — поинтересовался я.

— Нет, надо думать вместе, — не согласился Борбок-Кара. — Ты даже догадаться не можешь, Барыс. Большую и оч-чень серьезную политику хочу сказать. О ней надо мозговать вместе с Пашей. Три головы всегда находчивее, чем одна моя или твоя.

Увидев Борбок-Кару, Паша обрадовался так же, как и я. Теперь мы смотрели Пашиного альбом. В его снимках мы не обнаружили, чтобы он был снят в галстук. Но в альбоме Паши Борбок-Кара увидел другое достоинство:

— У тебя, оказывается, много девушек, Паша, — он шутливо ткнул его в бок. — Ай, сколько девушек! Хм-хм... — Он закрыл последнюю страницу Пашиного альбома и предложил: — Если вблизи есть чайная, то пойдемте, почаем втроем.

Мы, конечно, тут же согласились, обрадовались, поскольку тогда мы постоянно ощущали голод и не умели отказываться от еды.

— Когда придешь домой, из-за тебя, наверное, девушки будут драться, Борбок-Кара, — пошутил Паша. — Ты стал не хуже того оймонского Максима в красных сапогах!

— Нет, парни, — сказал Борбок-Кара, хитро улыбаясь, — сейчас в моей голове другая по-литика живет. Какая по-литика, спрашиваете?.. Не торопитесь.

Мы пришли в чайную, купили по два стакана горячего чая и по два пирожка. Борбок-Кара, заплатив за все это, сел рядом с нами и теми же хитрыми глазами посмотрел на нас.

— Дело вот какое, — заговорил он полупшепотом. — Вы оба должны крепко подумать и сказать мне... — Наш друг-солдат был серьезен и все усиливал наше с Пашей нетерпение узнать, что же за «по-литика» его мучает. — Пусть этот чрезвычайный вопрос останется, парни, между нами. Секрет и по-литика, поняли? — предупредил он. — Вот какое дело, парни — будущие воины: в нашем Кайру или в Ело найдется ли хоть одна девушка, которая умела бы по-русски печь хлеб, а? Подумайте не торопясь и скажите мне, други...

Понять и узнать Борбок-Кару со всех сторон трудно. Иногда мне думается, что он подобен осенним дням: лицо, словно пасмурное, черное небо. А иной раз он, как солнышко весной, весь светится и сияет.

Ай, Борбок-Кара, Борбок-Кара, скажи-ка, кто ты есть?

Вот он сидит в моем доме. Только что печалился, что куда-бог не дал ему детей. Вдруг, угощаясь и разговаривая с нами, стал совсем другим человеком. Вижу, в его круглых глазах появилась добрая тайна. Может быть, он понял, догадался, что я вспоминаю те далекие от нас годы и печальный случай, связанный с русским хлебом дедушки Папая?..

— Я хочу спросить и узнать от тебя об одной очень интересной политике, Барыс, — хитро прищурился он.

— Говори...

— Откуда люди знают, что человек думает только головой, а? — Он смотрел на меня испытующе. — А вдруг он думает ногами, а? — Борбок-Кара так громко засмеялся, что жена испугалась, что проснется ребенок, и торопливо ушла к нему.

— Ты видел человека без головы? — смеюсь я в свою очередь и на вопрос отвечаю наивным вопросом. — Ты вспомни Токтона, его «немецкую» ногу... — я осекся.

Лицо Борбок-Кары покрылось грозowymi тучами: назвав имя Токтона, я задел его старую рану. Мне стало неловко. Как-то надо было поправить свою ошибку, но ничего не приходило в голову. От затянувшегося молчания я испытывал еще большую неловкость.

А Борбок-Кара — это есть Борбок-Кара. Некоторое время он сидел молча, сопя и шмыгая носом. Потом, будто ничего не было сказано, продолжил свою «по-литику»:

— В твоих словах есть зернышко правды, — как-то уклончиво и с

сомнением сказал он. — Я ведь нарочно сказал о том, что человек, возможно, думает ногами. А вот теперь серьезно спрошу: может быть, человек думает сердцем? — При этом он ткнул себя в грудь слева указательным пальцем. Потом, указывая этим пальцем на потолок, как бы давая понять, что там, над нами, сидит бог, победоносно и громко изрек: — Жизнь — это есть большая по-литика, помни об этом всегда! — И опять: — Если вынуть сердце из груди человека, он не сможет жить ни одного часа! Тебе встречался человек, не имеющий в груди сердца?..

Откуда у него такие странные мысли, как к нему пришли? Возможно, когда он лежал в больнице, то соседи его по палате говорили примерно об этом, о смерти и бессмертии человека?.. А у него-то: жизнь — сердце — способность думать?! Ах, Борбок-Кара, решил козырнуть передо мной своей мудростью?

— Сердце и голова человека похожи на влюбленных, — сказал я. — У них одно дыхание, жизнь и душа общие, связаны навеки...

Борбок-Каре эта мысль не понравилась. Он решил, что я вновь напоминаю ему о его первой любви.

— Жена моя ничуть не хуже Чомый! — резко и гордо заявил он. — Подумаешь, Чомый!.. Только и знала, что рожать каждый год. Она, как моя жена, даже не умеет печь душистый русский хлеб! Мне она не пара. Тогда я был глупым мальчишкой, потому и бегал за этой дурой, потеврав голову.

...Когда Борбок-Кара спросил нас с Пашей о девушке, умеющей печь русский хлеб, мы недоуменно уставились на своего предводителя.

— А что, русский хлеб должен есть только Папай, так, что ли? — наш друг искренне обиделся. — Находясь на службе, я забыл вкус алтайского сырчика-курута. Привык питаться только русским хлебом. Моя жена должна уметь печь русский хлеб, запашистый и теплый русский хлеб! Теперь я человек культурный! Вот, парни, с такой новой политикой еду домой. Если найду жену, которая умела бы печь русский хлеб, я к себе позову дряхлого деда Папая, хорошенько угощу его хлебом, а после отомщу ему за его подлость своим судом. Пусть знает, как крутить уши!..

Ах, Борбок-Кара, Борбок-Кара, это ты хорошо запомнил, а помнишь ли ты, кто научил тебя охотиться? И так ли уж было больно? А была ли эта наука неправильна? Думал ли ты когда-нибудь над этими вопросами?

Сидя в чайной, мы с Пашей перебирали всех знакомых девушек, молодых женщин, кого бы из них предложить Борбок-Каре в жены. А он не торопил нас, терпеливо ждал.

— Может быть, еще принести по стакану чая и по пирожку? Хорошо думается, когда перед тобой стоит горячий чай.

— В нашем Кайру нет ни такой девушки, ни такой женщины, — был наш с Пашей ответ другу.

— Вы не спешите, еще подумайте, а я принесу чай.

Но и новая порция чая и пирожков не изменила итог наших размышлений: у нас не было подходящей жены для Борбок-Кары ни в Кайру, ни в Ело.

— Может быть, мне поехать в деревню Туэтку, поискать жену там? — советовался с нами наш предводитель. — Ведь в Туэкте с давних времен живут перемешанные люди: русские и алтайцы. Там, конечно, найдется подходящая девушка.

— А-а! — Паша вдруг вспомнил кого-то и посмотрел на друга. — Только ты, Борбок-Кара, наверное, не согласишься и даже рассердишься, если я назову женщину, которая умеет печь вкусный русский хлеб.

— Почему? — разволновался наш предводитель. — Говори скорее, кто она, где живет?

— Она работает в Ело. Она старая, Борбок-Кара. Крещеная полу-алтайка.

— Язык не имеет костей, скажи, Паша, хочу знать, кто она такая? — нетерпеливо потребовал Борбок-Кара.

— Дора, — назвал Паша, — ее зовут Дора...

— А-а-а, — громко и долго затянул Борбок-Кара. Наконец он, видимо, вспомнил эту Дору и посмотрел на Пашу потеплевшими глазами. — Ты говоришь о женщине, которая работает на племенном пункте, да? Я помню ее. Да, она действительно культурная...

— Но, Борбок-Кара, она же лет на пятнадцать старше тебя!..

— Возраст — это по-литика совсем другая. — Наш друг встал, поправил ремень и надел фуражку. — Сколько лет я должен жить один, а, парни? У Атыра и то уже дочь, хоть и чужая, а я все один. — Он улыбнулся нам, поднес правую руку к виску, встал навтыжку и сказал: — Любовь — это непростое дело, парни! Это — по-литика!..

Борбок-Кара уехал домой. А через какое-то время до нас дошел слух, что он женился на той самой Доре, которую подсказал ему Паша, что состоялась большая и славная свадьба, на которой гуляли жители Кайру и Ело.

Услышав такую новость, мы с Пашей диву давались: как же должен был запасть в душу и память нашего друга хлеб дедушки Папая, если он, чтобы наслаждаться душистым русским хлебом из золотистой алтайской пшеницы, женился на Доре?!

Голод... Голод в разное время бьет людей по-разному. Иногда берет за горло, а бывает — за душу.

Как убить его?

В годы детства мы страдали от физического, реального голода войны. Теперь же у голода новый лик, новый образ.

...Сегодня Борбок-Кара сидит в моем доме. Ай, Борбок-Кара, ай, Борбок-Кара, ты не случайно встретился мне в больнице. Разве мог я без тебя вспомнить наше детство, радости его и трудности?..

Все мы — и ты, Борбок-Кара, и твой брат Атыр, и Паша, и Метирей, и я сам — выросли без отцов. Теперь мы сами отцы. Хозяева Алтая и алтайской юрты. Хозяева собственного очага, горящего в нем огня.

Паша сегодня — ветеринарный врач. Живет в городе. Руководит большим отделом. А наш Метирей — строитель. Есть ли лучшая профессия, чем строить дома своим родичам и землякам?.. Атыр и ты — совхозные пастухи. Все мы занимаемся своим любимым делом.

Но нет теперь среди нас вашей матери — тетушки Кажакай, и нет матери Паши — доброй тетушки Тообос, и моей матери не стало в этом подлунном мире. И нет красавицы Кыйгас...

Наши матери, лишившись так рано своих мужей, старались всеми силами поставить нас на ноги. Они терпеливо и достойно выдержали все трудности, тяжелые испытания безжалостной судьбы. О наши дорогие, милые матери, куда мы видим синеву этого синего Алтая, белизну нашего белого Алтая, цвет зелени родного нам зеленого Алтая, куда радуемся всем краскам нашего прекрасного Алтая, мы никогда, никогда не забудем вас!

Кайру — небольшое горное селение. Оно не отмечено ни на союзной, ни тем более на мировой карте. Но из этого села на великую войну уехали десятки мужчин. Они навеки остались живыми в глубине сердец наших матерей, сестер и братьев, в наших сердцах. Они — наша общая и неутешная боль, незарубцованные раны и горе всех сердец нашей доброй земли.

Вот сидит Борбок-Кара и, глядя на меня, думает о чем-то. А я, думая о судьбах наших отцов и братьев, вдруг говорю ему:

— Хочешь послушать, прочту тебе стихи одного своего друга?

— Стихи?! — удивился Борбок-Кара. — Ты только и думаешь об этих стихах. Разве они помогут жить?

Но я не послушался своего гостя. В этот самый момент мне почему-то очень захотелось высказаться строчками стихов одного моего друга.

Мне не хватает одной улыбки,
Мне не хватает одного рукопожатия
Человека, которого я любил.
Двадцать миллионов улыбок,
Двадцать миллионов рукопожатий
Навсегда унесла война...

Борбок-Кара остался равнодушным к стихам. Он сообщил мне, что купил уже билет на автобус домой. Который раз я опять замечаю внутри его небольших глаз второго Борбок-Кару. Он на меня смотрит издали.

— Нет, все же в тебе я вижу тени острой боли, — говорит он. — Плохо отходит от тебя болезнь. Гляжу на твое лицо и боюсь. — Борбок-Кара бесцеремонно напоминает мне о болезни. Вдруг, переменяв тему разговора, он вспомнил о моей матери: — Мать твоя была очень хорошая. Жаль, не проводил ее в последний путь. Поздно услышал. Тайга...

Слушая его, я искренне подобрел к нему. Хороший человек Борбок-Кара: светло думает о моей бедной матери. Есть у него душа, есть сострадание к человеческой боли и утрате.

— Ну, Барыс, до свидания. — Он протянул мне свою мясистую крепкую ладонь. — Кто знает, друг, может быть, больше не придется нам встретиться...

А я, прощаясь с ним, хотел сказать: вот скоро совсем выздоровею и обязательно приеду в Кайру. И дальше поеду, в Кайру-Бажи, где работали наши матери. Может быть, сядем на коней, проедем по тем местам, где в детстве охотились за сусликами и кротами, посмотрим на те поля и горы, где пасли коров, телят, колхозных коней. Как было бы хорошо, если б позвать Пашу, Аткира и Мегирея!.. Нет, Борбок-Кара, отныне мы все чаще и чаще будем встречаться. Ты снова станешь нашим другом и вождем. Нас никто разлучить не может!..

Но вождь вдруг погасил мои светлые и добрые намерения. Неужели он сделал это специально? А может быть, невольно так получилось, а?..

— Ну, до свидания, — снова повторил он и пошел к двери. У порога обернулся. — Ну что ж, — сказал, глядя на меня маленькими насмешливыми глазами, — прости, и на твои похороны не смогу прибыть, коль надумаешь отправиться на тот свет... Опять услышу поздно.

Ай, Борбок-Кара, Борбок-Кара... Что можно сказать тебе после этого? Как с тобой поступить?.. И скажи мне, кто ты, Борбок-Кара?

Только я уверен, все равно ты эту книгу не прочтешь и не подумаешь о разных судьбах наших земляков — наших родных и друзей...

Ай, Борбок-Кара! Прощай и прости меня, Борбок-Кара!

Нет, я все же рад, что через много лет встретился с тобой и вспомнил наши далекие стойбища и вечно дорогих мне людей...

Горно-Алтайск—Белокуриха
1979 г. — год Овцы

Перевод с алтайского
В. Крупина



Ольга Андреевна Казаковцева родилась в г. Барнауле. Окончила институт культуры. Работает в Алтайском отделении Всероссийского Театрального Общества консультантом. Стихи публиковались в газете «Молодежь Алтая», в альманахе «Алтай».

Ольга КАЗАКОВЦЕВА

„ИЗ ДЕТСТВА ОН ШАГНУЛ В ВОЙНУ...“

Среди почты, которая идет ко мне, нет-нет да и попадутся такие письма, стихи или рассказы, которые не хочется убирать в стол, а тянет поделиться ими с людьми.

«Мне двадцать шесть лет, — пишет Ольга Казаковцева из Барнаула. — Когда я училась в институте культуры, мне встретился удивительный человек. Он участник войны, читал у нас политэкономии, но часто рассказывал о войне, на которую ушел шестнадцати лет. И я начала писать стихи тому мальчику...»

Я предлагаю цикл стихотворений Ольги Казаковцевой и надеюсь, что искренность и душевность начинающей поэтессы тронут и взволнуют их так же, как тронули и взволновали они меня.

Виктор АСТАФЬЕВ

ПРОСТИ МЕНЯ!

Чем искупить свою вину
перед мальчишкой
с автоматом?

Из детства он
шагнул в войну,
взмахнув рукой:
«За мной, ребята!»

Я вижу стройный батальон
безусых
мальчиков-подростков,
идет в атаку первым он и падает,
и с ним березка.

А батальон идет вперед,
роняя мальчиков в дороге.
Земля впитает, соберет
их кровь,

надежды и тревоги.
Как долго им еще идти —
победа только
в сорок пятом...

Как жаль,
что нам не по пути, —
я остаюсь в восьмидесятом.
Всю жизнь несу свою вину.

А может,
расшатались нервы!
Меня, не знавшую войну,
прости,
мальчишка в сорок первом.

* * *

Не смогла я тебя спасти,
меня просто не было
рядом.

Мама, милая, отпусти,
я уйду за его отрядом.
Не рассеялся черный дым,
еще пыль над дорогой
вьется,

он ушел совсем молодым
и, наверное,

не вернется.
Мама, милая, не держи,
все равно я уйду
с отрядом.

Лучше в мой вещмешок
положи

то, что надо, и то,
 что не надо.
Не устану я в долгом пути.
Он сумел, значит, я сумею.
Мне бы только его спасти,
по-другому я жить не смею.
Не смогла я тебя спасти,
меня просто не было
 рядом.
Мама, милая, отпусти,
я уйду за его отрядом.

* * *

Ты жил,
а я еще жива.
И по утрам
 на бывшем поле боя
блестит росой
 зеленая трава,
где мы могли вдвоем
 бежать с тобою.

Ты пел,
а я еще пою.
И голос мой
 с годами не слабеет,
я продолжаю песенку
 твою
о том, как в море
 парусник белеет.

Ты шел,
а я еще иду.
Не заросла травой
 твоя дорога.
Я доберусь,
 я все-таки дойду
и на земле успею
 очень много.

Ты жил,
а я еще жива.
И если смерть в пути
 меня застанет,

твои дела и все
 твои слова
доделают. Доскажут.
Наверстают.

* * *

И он сказал, что будет дождь,
хоть небо чистоту дарило.
А я подумала: «Ну что ж»,
я и таким его любила.
И приказал: «Меня не ждать,
забыть про все, что с нами было».
А я подумала опять,
что и таким его любила.
С тех самых слов прошли года.
Как он хотел, я все забыла.
Но почему-то и тогда
я все равно его любила.
И много зим от непогод
мой дом качало и знобило,
и в листопад, и в ледоход
я все равно его любила.

СТАРЫЙ ДЕНЬ

Мне этот день запомнится, конечно.
Пусть он ушел, как все уходят дни.
Покоя нет на станции конечной,
есть поворот и новый путь за ним.
И снова я сажусь к окошку ближе,
чтобы увидеть все наоборот:
опять пацан мороженое лижет,
но он в другую сторону идет,
стал великан обычным лилипutom,
и от обиды слезы в пол-лица,
киномеханик что-то перепутал,
поставил пленку с самого конца.
Повсюду смесь страданий и улыбок,
и переходы в «грустно» и «смешно».
А это я путем своих ошибок
иду в тот день, что кончился давно.



Леонид Ершов родился в с. Залесово Алтайского края. После окончания историко-филологического факультета пединститута работал учителем, преподавателем вуза, занимался журналистикой. Выпустил две поэтические книги. Рассказы печатались в альманахе «Алтай», в коллективном сборнике «Прикосновение». В настоящее время — старший редактор Алтайского книжного издательства.

Леонид ЕРШОВ

ЖЕНИТЬБА ДИМЫ ГВОЗДЕВА

Она сказала Диме, что беременна и намерена родить. А что ей, дескать, остается. Годы идут. Скоро будет тридцать. Пора родить. Не в сорок же лет это делать. Уже сейчас-то, наверно, будет нелегко — женщинам в возрасте первые роды трудно даются.

Лариса говорила об этом негромко, с обреченной печалью, сильно сугулясь над столом, и Дима Гвоздев удивился — никогда он ее такой не видел, жалость закралась в душу, а потом охватил стыд: догулялся, дескать, родит она ребенка и останется он без отца, какое там останется — сразу отца не будет.

Одним словом, Диму слова Ларисы сильно взволновали.

Он поднялся со стула, заходил по комнате, дымя сигаретой, сосредоточенно глядя в пол, иногда на Ларису, которая продолжала сидеть в позе согбенной старушки, расправляя скомканную салфетку из зеленой материи. Радио было включено, передавали какой-то спектакль: кто-то в динамике по-страшному хохотал, и Дима выключил его совсем. С улицы доносился гул машин. Дима ходил. Под ним поскрипывал пол.

— Рожай. А в загс недолго сходить, — сказал он, пугаясь своих слов.

Лариса не сразу отозвалась, сидела не шевелясь некоторое время, потом стала постепенно распрямляться, отложила салфетку, сказала со вздохом:

— Выходит, выпросила.

Дима ничего не ответил, попросил сварить кофе, сказал, что ночевать он уйдет в свою квартиру. А почему — объяснять не стал.

Кофе они пили молча. Потом Гвоздев оделся, пообещал Ларисе позвонить завтра на работу и ушел.

Медленно спускался по лестнице. На душе у него было смутно. Дима знал, что Лариса на ночь, как всегда, обильно намажет лицо кремом, закрутит волосы на бигуди, подправит маникюр, слушая джазик и покуривая. Может и рюмочку вина выпить для крепкого сна. От этой воображаемой картины Дима почему-то поморщился, но не стал больше думать о том, чем еще займется Лариса в этот вечер. Другие мысли тут же заняли его голову: не ошибается ли он в Ларисе, ведь что-то останавливало его от того, чтобы сделать ей предложение. Не мог Дима ухватить главного в ее характере, ускользало от него это главное, глубоко было скрыто — не докопаться. Вроде и веселая она, и общительная, и глазки светятся приветливо, но бывает, задумается и появляется в ее лице что-то тяжелое, угрюмое, недоброе.

С Ларисой Гвоздев познакомился так. Ходил в стоматологию. Попал к ней на прием. А спустя некоторое время встретил Ларису на улице. Зимой было дело. На автобусной остановке — толпа. Мороз слезу выжмает, а она в сапожках у бордюра пританцовывает, трет щеки варежкой — застыла вся.

Дима тормознул и отвез ее домой (он шофер начальника ПМК).

Лариса благодарила, в гости приглашала, адрес свой дала.

Гвоздев отнекивался от приглашения, потому что думал, что Лариса замужем, а она оказалась не замужем. О том, что Дима не женат, Лариса знала. Еще когда зуб ему лечила, посоветовала: пусть, мол, жена найдет какой-нибудь мешочек, соли нагреет и пусть Дима этой солью зуб прогревает да раствором соды полощет.

Дима тут и брякнул, что не женат. А Лариса спросила шутя, почему это он до тридцати лет в «девках» засиделся. Гвоздев хотел ответить, что был женат, но разошелся, однако не сказал, промолчал.

Однажды, помня Ларисино приглашение, Дима позвонил в ее квартиру. Лариса встретила его удивленно и радостно, переделась по случаю его прихода в платье с блестками, вела себя непринужденно, будто давно и хорошо знала Диму, и ее непринужденность передалась Диме. Он рассказывал ей о работе на грузовике, о том, какие были с ним случаи в дороге, как он однажды в метель чуть не замерз в степи. Он вообще не хотел поразить Ларису этим, просто не знал, о чем с ней говорить. Лариса слушала его внимательно, заинтересованно, охала даже в нескольких местах, и вечер прошел хорошо, и Дима уходил от врачихи в настроенье и стал часто бывать у нее. Так постепенно и привык к ней.

Дима позвонил Ларисе в поликлинику, как и обещал. Лариса спросила: будет ли он у ней в семь вечера, потому что должна прийти Ирина — зав. секцией мебельного магазина. Надо с ней договориться насчет гарнитура, потому что они две своих однокомнатных квартиры, ее и Димину, обменяют, конечно же, на трехкомнатную — другой вариант был бы просто смешон. Сейчас расходятся каждый день, спрос на однокомнатные просто громадный. А в трехкомнатную любой гарнитур поместится.

Дима сказал, что он придет позже, потому что у начальника совещание.

Он пришел в восемь. Лариса без него договорилась насчет гарнитура, зав. секцией твердо пообещала.

Дима и Лариса пошли погулять, подышать свежим воздухом. Лариса, когда гуляли, попросила Диму съездить завтра в бюро обмена, дать объявление. Дима не отказался.

Стемнело уже. Дул порывистый ветер. Подморозило. Они продрогли и решили зайти в кафе поужинать и, может, чего-нибудь выпить.

Заняли место за столиком, где сидел всего один посетитель — лысеющий блондин неопределенного возраста. Он уже не пил и не ел, а а странно, с постоянной улыбкой смотрел в одну точку.

Дима оглянулся в том направлении, куда смотрел блондин, но ничего веселого не обнаружил. Внимательно приглядевшись к соседу по столику, понял — тот сильно пьян и вообще не улыбается. Выражение лица у него такое, гримаса. Наверное, когда еще не совсем напился, улыбнулся чему-то, выпил еще, да так и застыла эта улыбка на пьяном лице.

— Человек, который смеется, — негромко сказал Дима Ларисе.

Она кивнула чуть.

А блондин почему-то стал не мигая смотреть на Ларису.

— Что, дядя? — обратилась Лариса к блондину, но тот и бровью не повел, а Дима тут же стал успокаивать Ларису.

— Он уже невменяемый. Он никого не видит. Брось ты.

Лариса покусывала губы в раздражении.

Наконец к их столику подошла официантка, пожилая, сильно накрашенная женщина. Она, ни слова не говоря, запустила к блондину руку во внутренний карман пиджака, вынула оттуда четвертную, постучала костяшками счетов и сдала сдачу тем же манером. Сочла необходимым пояснить Диме и Ларисе:

— С ним почти всегда так. А до дому дойдет. На автопилоте. Одинокий он.

Дима кивал головой: дескать, ему все понятно, Лариса смотрела на все это, сощутив глаза. А когда официантка, приняв заказ, отошла от них, Лариса, глядя ей вслед, сказала:

— Недурно тетя устроилась. Высчитывай, сколько хочешь, сдавай — тоже. Хорошая работенка — ничего не скажешь.

— Может, она взяла с него точно по счетчику, — возразил Дима. Лариса обдала жениха ироническим взглядом:

— Почему ты такой наивный? Просто удивительно! Да самое малое она рубля три прибрала к рукам, а то и все пять.

— А ты бы прибрала?

— Зачем говорить о том, чего быть не может.

— Так ты же ей завидуешь. Неплохо, говоришь, устроилась.

— Каждому свое.

— Шла бы в официантки, — вырвалось у Димы.

— У меня есть специальность. Я своему делу шесть лет училась.

— Я шесть лет не учился в институте, а не завидую тем, к кому чужие деньги прилипают. Между прочим, тебе пациенты подарки несут, а они денег стоят. И ты, получается, неплохо устроилась.

— Ты это о чем? — наигранно, легко спросила Лариса.

— Не притворяйся.

— Да и ты пассажиров, надо полагать, не за «спасибо» подводишь.

От этих слов Дима аж задохнулся. Точно, что иногда он берет пассажиров, если по пути. Но чтобы получать с них плату?! Дима никогда такого не допускал — совесть не позволяла.

Он несколько секунд глядел на Ларису, ошеломленный ее словами, потому что никто иной, как Дима, говорил ей однажды, что ему совестно брать «левые».

— Ты почему мои слова переворачиваешь? — спросил он.

Лариса молчала.

— Между прочим, — указывая глазами на блондина, — он тебе никакой не дядя. Он старше тебя: И, пожалуйста, полегче.

— Алкоголика защищаешь? — зло встрепенулась Лариса.

— Нет. Противно смотреть на твое хамство. — И Дима поднялся и пошел в гардероб.

На улице он тотчас же закурил. «Это ж надо меня обвинить в левых заработках?! Какую совесть надо иметь, чтобы так перевернуть мои слова — на все триста шестьдесят градусов! — думал он, шагая домой. — Всех одной гребенкой чешет. Сама подарки принимает — думает и другие такие же».

Вскоре они с Ларисой поженились. А через несколько дней после свадьбы Лариса утром собрала кое-какие вещи, сложила в сумку. Делала это молча, не объясняя ничего.

— Далеко? — спросил Дима, ощущая тревогу.

— В больницу.

— Не пойдешь, — сказал жестко.

— Вот еще! Квартиру обменяем, отремонтируем новую, немного проживем, тогда и рожу. А то мало ли что...

И она пошла спокойно, твердо, уверенно.

Дима видел в окно, как Лариса шла к автобусной остановке. Было желание догнать ее, вернуть, даже силой. Дима это мог сделать — он большой, руки у него сильные. Взять Ларису, как куклу, и унести обратно домой.

Он вздохнул: ничего этого не сделаешь. Настырная она. Ощущение возникло, что с ее уходом в больницу их семейная жизнь, едва начавшись, рухнет. Когда она вернется, он будет с ненавистью смотреть на нее, иначе не сможет. Не простит. «Собралась рожать. Артистка. Кукла в шляпе». Дима врезал кулаком по подоконнику, оттуда упал стакан из тонкого стекла, оставленный утром Ларисой, — глдила платье, брызгала на него из этого стакана водой и забыла убрать. Стакан разбился. Дима не обратил на это внимания. Закурил. «Значит, так... Значит... Олежки не будет...»

Дима уже решил: если Лариса родит мальчика, они назовут его Олегом. Олег Дмитриевич. Красиво. Внушительно. Еще несколько часов назад Дима радостью переполнялся от этих мыслей о сыне. А теперь что? И он рванулся на улицу. Почти бежал к автобусной остановке. Охваченный лихорадочной решимостью предотвратить непоправимое, он приехал в родильный дом. Но когда глаза натолкнулись на вывеску, Дима опешил, на мгновение растерялся. Но только на мгновение. Время было дорого, и Дима влетел в роддом, ища глазами кого-нибудь в белом халате.

В коридоре появилась молоденькая, черная, стройная. Дима к ней:

— Скажите... — он на секунду стушевался, — где аборт делают?

Девушка изумленно смотрела на него, она, казалось, потеряла речь.

— Я практикантка, — наконец сказала она и поспешно пошла прочь.

— От елки-моталки! Не добьешься.

Но спустя несколько минут он знал точный адрес больницы, куда уехала Лариса. Это было не близко.

Дима заскочил в гараж, вывел УАЗик и погнал в больницу. Там он сразу же заявил дежурной, что ему срочно нужен главврач.

— А вы кто? — спросила дежурная, скучная лет сорока женщина с вялыми серыми глазами.

— Начальник ПМК, — бодро соврал Дима. — И добавил: — Передвижная механизированная колонна. Слыхали?

— Чего мы только не слышали, — негромко говорила дежурная, снимая с гвоздя белый халат в ржавых пятнах и подавая его Диме. Объяснила неспешно, что кабинет главврача находится на втором этаже в левом крыле.

— Зовут? — коротко спросил Дима.

— Что зовут?

— Как его зовут? Главного вашего.

— Не его, а ее... Ольга Ивановна.

— Спасибо.

Дима перешагивал через две ступеньки. В коридоре второго этажа линолеум пузырился, и Гвоздев, споткнувшись, чуть не упал. Негромко выругался. Нашел кабинет главного врача. Екнуло внутри. Но Дима не раздумывал, почему екнуло. В кабинете сидели три женщины: одна за столом, две на стульях, стоявших поодаль стола.

Дима поздоровался.

— Что у вас? — спросил та, что сидела за столом, белокурая, упитанная, еще не старая.

— Мне поговорить. Один на один, — сказал Дима, не садясь пока.

А сам хотел, чтобы эти две женщины ушли как можно быстрее. Если они быстро не уйдут, уйдет он, Дима, потому что решимость его пошла на убыль, наваливалась стеснительность, начинало ему казаться, что глупость это — его приезд сюда.

Но две ушли быстро.

— Слушаю, — главный врач смотрела на Диму без особого интереса.

— В общем, надо, чтобы одна женщина не делала аборта.

Брови главврача поползли вверх.

— Не совсем понимаю...

— Я не хочу, чтобы она делала. Говорила буду рожать, а сама в вашу больницу приехала. — И больше Дима не знал, что сказать.

— Интересно. А на каком месяце?

— Что?

— Жена ваша на каком месяце беременности?

— Не знаю. Хотела рожать, а сама к вам приехала.

— А вы хотите ребенка?

— Хочу. Да дело не в этом. Конечно, хочу. — Дима набрал побольше в грудь воздуха. — Но зачем обманывать, разыгрывать. Глазки закатывать, несчастной прикидываться...

— Я вас не совсем понимаю, — перебила главврач.

— А что тут понимать... Могу я написать заявление, что я против того, чтобы она делала... этот самый... — Гвоздев вдруг застеснялся произнести слово, которое он за это утро уже несколько раз произносил.

Главврач улыбнулась:

— Это надо было дома с женой решать. Мы же ее не заставляли, как вы понимаете. Она сама пришла. Аборты разрешены постановлением правительства.

— Правительства? — удивленно произнес Дима.

— Да.

— Ну да. Понимаю.

— А вы давно женаты?

— Две недели.

— Всего! — воскликнула главврач. — Так у вас все впереди, — с улыбкой сказала она.

— Что впереди?

— Дети. Еще не одного наживете.

— Так тут... — Дима хотел сказать, что он только потому и расписался с Ларисой, что не мог себе представить такую картину: он, отец, будет жить отдельно от Ларисы и своего ребенка. А она не стала рожать. Это ж нечестно. Теперь он возненавидит ее. Разведется. Смешно — две недели назад расписались и уже разводиться. В голове не укладывается. Он все же сказал об этом, только другими словами.

— Ну вот, например, мужчина и женщина встречаются. Ну вот вы с кем-нибудь встречались бы. Жили бы как муж и жена. А у вас много недостатков: барахло любите, задаром другому человеку ничего не сделаете — все с выгодой, ну и еще там кое-что. А у вас беременность. А он не думает жениться, потому что чувствует, что не та вы женщина. Но ведь ребенок будет. Он идет с вами в загс, а вы сюда. То как? А? Как после этого он с вами будет жить? Скажите, пожалуйста.

— Молодой человек... — Главврач хмурилась. — Мы больница.

— Знаю, — тихо сказал Дима. — А все же совесть надо иметь.

Главврач смотрела на Диму и молчала.

ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ МАХОВ

Холостяк Махов ждал в гости женщину, с которой недавно познакомился.

А было это так. Приходит Махов в кинотеатр на дневной воскресный сеанс, занимает свое место и видит: через два кресла сидит очень даже симпатичная женщина — светлая, профиль нежный. Сидит прямо и гордо. Махов смотрит на нее, любит. Женщина чувствует, что на

нее глядят и отвечает Махову взглядом, в котором Олегу Кирилловичу чудится насмешка: чего, мол, уставился?

«Тэ-э-кс, — решает про себя Махов, — вы, значит, насмешничать! Ладно. Насмешничайте. А мы будем с вами знакомиться. Сегодня же. После сеанса. Иначе ищи вас потом в миллионном городе. Искать замучаешься. А вы мне нравитесь. Так-то вот».

Кино Олег Кириллович смотрел с пятое на десятое — думал, как же подкатиться к этой светловолосой, нежной и гордой. И придумал-таки.

После сеанса он устремился вслед за ней. И когда толпа рассеялась, Махов решительно подошел к женщине, тронул ее за локоть и спросил удивленно и укоризненно:

— Вера Николаевна, вы меня действительно не узнаете или только делаете вид?

Женщина остановилась, недоумевая, глядела на Махова. Потом сказала:

— Но я вас не знаю.

— Ужас! Ну и память у вас! Рейс 218 из Москвы. Май текущего года. У вас коробки, чемоданы. Я вам помогаю все это сдать в багаж, а в здешнем аэропорту получить. Мы едем на такси до вашего дома на улице Космонавтов. Вы меня, конечно же, благодарите. И мы, к сожалению, расстаемся. К моему сожалению.

— Я живу не на улице Космонавтов, а на другой.

— Фантастика! Александр Грин и Герберт Уэллс! Тогда у вас, наверное, есть сестра, сильно похожая на вас? Как две капли воды.

— И сестры у меня нет.

Олег Кириллович удивлен до предела. Он трогается с места и увлекает за собой женщину.

Они медленно идут по улице, Махов не дает ей опомниться.

— Не просить же мне у вас удостоверение личности, Вера Николаевна.

— Меня зовут Эльвирой. Эльвира Ивановна.

Махов даже приостанавливается: он так удивлен, что ноги перестают слушаться.

— Неужели в данный момент я нахожусь во власти галлюцинаций? Неужели в мае месяце не было служебной командировки в столицу нашей родины? Неужели ничего этого не было, в том числе и вас, и я все время думаю о несуществующей женщине? Моя фамилия, кстати, Махов. Махов Олег Кириллович, искусствовед. А вы, простите, по какой части?

Эльвира Ивановна, помедлив чуть, сказала, что она всего-навсего домохозяйка. И добавила:

— Давайте будем считать, что мы познакомились сегодня, когда вы так откровенно до неприличия рассматривали меня в кинотеатре.

— Умные слова и вовремя сказаны, как любит выражаться мой шеф! — воскликнул Махов. — И все же вы сильно смахиваете на ту женщину, с которой я вместе летел из Москвы. Правда, она тяжелей вас.

— Это как?

— Грузновата она. — И тут же Олег Кириллович стал ковать железо.

— Где мы с вами еще раз встретимся?

— Зачем?

— Поговорить.

— О чем?

— О жизни. Жизнь-то пошла какая нынче! Сложная. Голова кругом идет. — Тут же Махов перескакивает на другое, ради чего он взялся породить весь этот огород. — А как вы относитесь к проблеме встретиться? Или такой проблемы не существует?

Эльвира Ивановна отозвалась не сразу. Махов ждал с легким замиранием сердца.

— Предлагайте, — наконец отозвалась Эльвира Ивановна.

— Вы можете прийти ко мне домой. Я живу один.

— Временно или постоянно?

— Живу один? Постоянно.

— Хорошо. Я позвоню вам дня через два.

Махов тут же назвал номер своего служебного телефона.

На этом они расстались.

«Ну вот, — думал Махов, довольный собой, — дело в шляпе. А как смотрела!? С насмешкой. Как крепость неприступная. А телефончик все же взяла. Так-то».

Через два дня она позвонила, назначила встречу ему в удаленном от центра города сквере, где они вечером благополучно встретились. Эльвира Ивановна была просто хороша. Прическа из светлых, как пшеничная солома, волос свежего изготовления высилась над головой такой сдобной булкой, вся — волосок к волоску и скреплена каким-то раствором. Они сидели на скамейке, гуляли по скверу. Махов много шутил, Эльвира Ивановна смеялась. Оказалось, что Эльвира Ивановна не замужем, во что Махов, конечно, не поверил, ибо ей было около тридцати. Если к этим тридцати прибавить хорошую внешность, то трудно поверить, что Эльвира Ивановна не замужем. А вот Эльвира Ивановна поверила, что он, Махов, искусствовед.

Олег Кириллович всегда в подобных ситуациях был искусствоведом. Это ему более или менее удавалось, потому что за его плечами в далеком прошлом было культпросветучилище. Культурой он ворочал недолго, так как однажды понял: не за свое дело взялся. Сменил много «специальностей» и теперь был снабженцем на заводе.

В сквере они договорились, что в выходной Эльвира Ивановна придет к Махову домой.

И вот он ждал ее.

Стоял солнечный сентябрьский день, тихий, отрадный, один из тех дней осени, когда почти каждому человеку грустно, что жизнь проходит быстро, когда почти каждый задает безответный трагический вопрос, почему она не тянется вечно.

Махов, ожидая Эльвиру Ивановну, долго стоял у окна и, глядя на деревья в осеннем желтом убранстве, на чистое синее небо, ощущал какую-то тревогу. Хотя о чем ему тревожиться? Что Эльвира Ивановна может не прийти? Не придет сегодня — придет в следующий раз.

Махов думал о другом, о том, что ему скоро тридцать, а жизнь идет кувырком, одинок он, неприкаян. Ну найдя с женщинами, однако ему самому скучно становится от своей находчивости. Живет, как по сценарию: знакомство, трепотня словесная, постель и неизбежное отчуждение. И еще его тревожит, что Эльвира Ивановна, вероятно, лжет, что не замужем. Он-то, Махов, хочет, чтоб так оно и было. Нравится ему она. Решил даже не доходить до грубостей. Вдруг у них что-то получится. Вот почему, едва раздался звонок, Махов, ощутив сердечный толчок, бросился открывать.

Эльвира Ивановна была в плаще и черной шляпке, и эта шляпка удивительно сильно оттеняла голубизну ее глаз.

Махов, хоть и ждал ее, но все же чуть растерялся, ощущая прилив счастливого чувства.

Эльвира Ивановна вошла и неожиданно для Олега Кирилловича прижалась щекой к его щеке, на мгновение всего, тут же отстранилась, но этого было достаточно, чтобы у Махова еще сильнее заколотилось сердце, чтобы возникшее счастливое чувство разрослось до неведомых ему ранее размеров.

— Как это прекрасно! — воскликнул Олег Кириллович, готовый принять от нее плащ.

— Чудесный день! — говорила Эльвира Ивановна. — На улице просто прелесть! Золотая осень!

Слова-то она говорила дежурные, но Махову они казались музыкой.

От Эльвиры Ивановны тонко пахло духами, и Махов с наслаждением вдыхал этот запах, ощущая нечто вроде головокружения.

И вот они сидели уже за столом, где было шампанское, фрукты, конфеты.

Махов волновался, и в его движениях была несвойственная ему суетливость, отчего он чуть не разбил фужер и не опрокинул вазу с фруктами. А когда налил шампанское, вдруг предложил поставить кофе. Эльвира Ивановна сказала, что кофе можно попозже, и они подняли фужеры.

— За что пьем? — спросила она.

— За нас!

А потом, когда они выпили, Эльвира Ивановна вдруг спросила:

— Книг у вас почему-то маловато, товарищ искусствовед?

Махова будто током пронзило. Сделалось нехорошо. Чувствуя, что краснеет, Олег Кириллович, однако, нашелся что сказать:

— Мне недавно дали двухкомнатную. Знаете, строят несколько шестнадцатизэтажек, возле главпочтамта. Одну уже сдали. Там я и получил. Я кандидат наук. Мне положено двухкомнатную. Все книги там. Завтра остальное перевезу. — Махов тут же поднялся: — Музыку хотите?

— Можно.

Олег Кириллович рад был возможности отвернуться на некоторое время от Эльвиры Ивановны, потому что чувствовал себя неловко, скраснел и теперь нарочито долго копался в пластинках, чтобы, вернувшись к столу, выглядеть так, как будто ничего не произошло. Более того, одна ложь повлекла за собой другую.

Копаясь в пластинках, Махов говорил:

— Музыка способна выразить самые тончайшие движения человеческой души. Лично я люблю Шопена. Вальсы. Великий Гете сказал о Шопене, что это нежный гений гармонии. И вы поймете сейчас, что сказано справедливо. Лично я бы никогда не стал заниматься исследованием живописи, если бы умел играть на фортепьяно. — Махов стал сам собой. Он повернулся к Эльвире Ивановне. — Когда слушаешь музыку, понимаешь, какая пошлость вокруг по сравнению с ней. Плакать хочется. Честное слово.

Эльвира Ивановна слегка была озадачена: похоже Махов в самом деле искусствовед, хотя это для нее почти не имело значения. Искусствовед так искусствовед.

О музыке Олег Кириллович мог целую лекцию закатить, потому что год был в близких отношениях с преподавательницей музыкальной школы.

А когда он снова сел за стол и увидел глаза Эльвиры Ивановны, внутри опять защемило да так, что ему вдруг захотелось признаться ей, что никакой он не искусствовед, на сегодняшний день он снабженец, уставший от одиночества и случайных встреч.

Эльвира Ивановна между тем посмотрела на часы. Махов еще налил шампанского и ей и себе. Стал рассказывать анекдоты не оскорбительные для слуха женщины. Сперва Эльвира Ивановна весело смеялась, но постепенно стала скучнеть.

Вдруг Эльвира Ивановна встала, сказав, что ей пора. Махов не заметил, что она была немного рассержена. Ему чудилось, что он любит ее.

Условились через день встретиться здесь же, у Махова. Но Эльвира Ивановна не пришла.

Встретил он ее уже зимой. Бросился к ней, не заметив, что шла Эльвира Ивановна с каким-то высоким, вероятно, мужем.

— Вы?! — воскликнул Махов.

— А, здравствуйте! — И, обратясь к высокому, сказала:

— Летели из Сочи вместе с товарищем, кажется, Королевым. Он мне вещи помогал сдавать. — Как ваша семья поживает?

— Спасибо, — машинально ответил Махов.

— Всего вам доброго.

Махов оторопело посмотрел вслед Эльвире Ивановне и высокому. Отвернулся. Пошел в противоположную сторону и вдруг круто развернулся обратно, чтобы догнать Эльвиру Ивановну и высокого. «Ничья меня не устраивает. Я — Махов. Я гений своего рода. У вас сейчас сердце в пятки прыгнет, Эльвира Ивановна».

Махов весь напрягся, как гипнотизер перед сеансом. Он лихорадочно искал повод остановить Эльвиру Ивановну. И нашел. Догнав ее и высокого, Махов увидел, как исказилось испугом лицо женщины. Олег Кириллович улыбнулся:

— Простите. Но вы забыли, что за вами должок в пять рублей. Помните, в Сочи вам не на что было сдать багаж. Вы заняли у меня.

Эльвира Ивановна, бледная, полезла дрожащей рукой в сумочку. Достала десятирублевку. Махов деловито дал сдачу.

— Мерси, — сказал он и отошел в сторону.

Пройдя немного, Олег Кириллович понял, что весь напряжен, даже зубы стиснуты почему-то. Сел на скамейку. И долго сидел, ощущая, какая страшная непролазная тоска навалилась на него.

ЕЗДИЛ ШУБАРИН НА РОДИНУ...

Зять Шубарина Геннадия, сорокалетний, сильно важничающий замначальника строительной конторы, ездивший на служебном «Москвиче», зашел к Геннадию под вечер с бутылкой белой.

Жена у Шубарина была на юге по турпутевке, и мужчины легко и беспрепятственно выпили.

В разговоре зять Геннадия, которого звали Валерий Маркович, а фамилия у него была Юшкин, между прочим, сказал, что завтра утром он едет в командировку в Калиновку — в родное село Шубарина.

При упоминании Калиновки Геннадий разволновался. Он не был в ней с той поры, как уехал в город с матерью четырнадцатилетним пацаном. А сейчас ему было двадцать шесть — значит ровно двенадцать лет не видел он той местности, откуда брала начало его жизнь.

— Елки-палки, — сказал Геннадий, — а что если мне махнуть с тобой в Калиновку? А?

— Так это запросто, — отозвался Юшкин. — Мне жалко, что ли? Поехали. Будь к семи утра готов. Я заеду.

— А что?! Идея! Дом на замок и поехали.

Шубарин, чуть опьянев, влюбленно смотрел на зятя, которого вообще-то недолюбливал за то, что тот важничал, был грубоват и много пил. Но сейчас Шубарин все прощал Юшкину: захватила возможность поехать в родное село.

Бутылку они допили, и Юшкин ушел домой, напомнив, что завтра ровно в семь он заедет за Геннадием.

Не обманул Валерий Маркович, вопреки опасениям Шубарина, знавшего, что его зять живет по принципу — мое слово: хочу держу, хочу нет.

Ровно в семь утра Шубарин услышал резкий в благостной утренней тишине сигнал юшкинского «Москвича». Схватив с вешалки плащ, он быстро спустился по лестнице вниз.

Зять встретил его сдержанно, вяло пожал руку, сказал шоферу:

— Погнали.

Когда петляли по городским улицам, Юшкин повернулся к Шубарину и, вымученно улыбаясь, вздохнул:

— А я вчера еще на одну бутылку наехал. Иду от тебя, а навстречу начальник КМТС (контора материально-технического снабжения). Затасил меня к себе, накачал. Домой я в двенадцать приволокся. Верка шумит. Вредная стала твоя сестра. Спасу нет.

— Перебарщиваешь, наверно? — осторожно заметил Шубарин.

— В смысле?

— В смысле выпивки.

— Бывает, — легко согласился Юшкин. — Ну ничего. В Калиновке опохмелимся, дела сделаем — и домой. Так, Вася? — Шофер кивнул.

— Между прочим, — снова обращаясь к Геннадию, продолжал Юшкин, — я сказал, что у тебя пили. Это и смягчило обстановку. А то бы опять до развода. Ну бабы нынче стали! Чего им не хватает? Квартира у нас, сам знаешь, как игрушка: кафель, пластик, линолеум. А все шумит. Но Борька за меня. Хватит, говорит, отца пилить. Он мужчина — имеет право.

— Это зря, — отозвался Шубарин.

— Что зря?

— Да что вы Бориса каждый в свою сторону. Испортите парня.

— Ерунда. Ты педагог — тебе и кажется. А жизнь — она не то что твоя педагогика. Жизнь — она...

— Может быть, — не стал спорить Геннадий, хотя соглашаться с Юшкиным и не думал. А спорить было бесполезно. Валерий Маркович, когда с ним не соглашались, начинал смотреть на собеседника иронически и загадочно всезнающе улыбаться. Он был непробиваемым человеком, и Шубарин это хорошо знал. Да и спорить не хотелось — настроение было не то, хотя брала обида за сестру. И племянника Шубарин жалел, потому что тот действительно находился между двух огней.

Некоторое время ехали молча, только нет-нет да Юшкин советовал шоферу либо быстрее ехать, либо тише, хотя Вася, Шубарин это видел, не плохо знал свое дело. Но такая уж была натура у Юшкина. Как стал замначальника, так весь переменялся от макушки до пят. Походка сделалась вальяжной, взгляд чуть насмешливый. Даже прическа изменилась — появился пробор. Внешностью Юшкин симпатяга, а характер с поровом и подковыром.

Родом Юшкин был из соседнего с Калиновкой села Оселки. К сестре Шубарина ездил на свидания на попутках. Геннадий помнил, что Вера долго не шла замуж за Юшкина, но все же в конце концов Валерий Маркович добился своего. «А теперь вот недоволен», — грустно думал Шубарин, глядя в затылок зятя.

Не особенно ладилась семейная жизнь и у самого Геннадия. А уж как верил, что у них с Ольгой все будет хорошо. А хорошо не получается. И неизвестно почему. Некоторые, как Юшкин, пьют. Он, Шубарин, выпивает редко и мало. А все равно Ольга нервничает иногда и своей нервозностью его заводит. Будто мало нервов он тратит в школе — еще дома отдай. Ну что с того, если у них пока не все есть, что бы хотелось? Со временем все будет. Ольга не любит, когда ее так успокаивают: зачем, говорит, мне к старости достаток? Я молодая хочу пожить. А уж что не в деньгах счастье, так об этом лучше не заикаться. Этого она и слышать не желает. Ее трясет от этих слов. И она прямо-

таки вдалбливает Шубарину, что это было модно в тридцатые годы, а ты, дескать, живешь в восьмидесятые, и твои взгляды, товарищ Шубарин (так и говорит «товарищ»), устарели ровно на полвека.

Юшкин как будто подслушал мысли шурина, не поворачиваясь, спросил:

— Ольга на юге говоришь?

— Там.

— Простак ты, Гена. Туда бабу одну нельзя отпускать. Со стражей только, под усиленной охраной.

Шубарин нахмурился.

— А что? — спросил деланно спокойно.

— Бывал я в тех краях. Приехал — хотел с Веркой развестись. Я ее по молодости да по глупости тоже однажды отпустил. Насмотрелся, как они там без нас гарцуют.

— Все подряд? — наигранно бодро спросил Шубарин.

— Через одну. Можешь Ольге целый год рога наставлять без суда и следствия. У тебя, кстати, лоб не чешется?

— То есть?

— У молодых бычков всегда лоб чешется, когда рожки растут.

Захотел Вася:

— Ну, Валерь Маркыч!

Юшкин повернулся к Шубарину:

— Ты не обижайся.

Шубарин не обижался. Ему хотелось двинуть Юшкину, но двинуть он не мог, потому что вроде не за что было, так как сам, отправив жену на юг, думал о том, что с ее взглядами на жизнь очень даже просто оправдать любой свой поступок.

А Юшкин уже терзал шофера:

— До Калиновки не дотяну. Надо раньше где-нибудь опохмелиться. Нутро трепещет, в голове шурум-бурум. А, Вася?

— Раньше, чем в Калиновке, не получится, — ответствовал шофер. — Деревни маленькие, магазины поздно открываются.

— Тогда в Воронино. Сам пойду, — решительно сказал Юшкин.

— В Воронино, как в городе — с одиннадцати, — заметил Вася.

— Ничего. Я попробую.

В сорока километрах от Калиновки — райцентр Воронино, разбежавшийся по холмам, столпившийся у когда-то полноводной, а теперь обмелевшей реки Кумыш.

Въехали в него, а Шубарин почти не узнавал села, где часто гостил у тетки, — сильно изменилось Воронино. Много кирпичных домов, улицы прямые, фонари, как в городе. Асфальт.

И все равно Геннадий волновался — началась «территория» его детства.

Юшкин приказал шоферу рулить к продовольственному.

Подъехали к продовольственному. Юшкин вылез из машины и вскоре скрылся в магазине.

— Не дадут, — пророчески сказал Вася.

— Возьмет, — возразил Шубарин.

И точно — Юшкин взял. Из магазина он шел сияя, влез в машину и торжественно показал шоферу и Шубарину бутылку «Старки».

— У вас, говорю, должен быть приказ о неограниченной продаже спиртного работникам сельского строительства. Она на меня глаза выпучила. Не видела, дескать, такого. Ищите, говорю, и смотрите. Она жмет плечами. Я гляжу на нее сурово. Продала. Испугалась, что приказа не знает.

— Ну, Валерь Маркыч! — вновь изумился Вася. — Артист!

За селом Юшкин выпил почти полный стакан, повеселел, стал мурлыкать песни. Ехали с ветерком — дорога была неплохая.

Шубарин во все глаза смотрел по сторонам, волнуясь, узнавая те места, куда ходил в детстве по ягоды и грибы. А Юшкин уже дремал — его развезло.

Километрах в двух от Калиновки дорогу преграждал наспех сооруженный шлагбаум — неошкуренная осиновая жердь с противовесом.

Остановились. Посигналили. Из маленькой будочки вышел старик в поношенном выгоревшем на солнце пиджаке, в кирзовых сапогах, мятой кепке.

— Отворяй, батя! — крикнул Вася из машины.

Старик однако «отворять» не спешил. Подошел к машине, осмотрел ее, будто был работником ГАИ.

— Батя, а на хрена это сооружение? — спрашивал тем временем весело шофер, имея в виду шлагбаум.

— Ни на хрена, а ящур. Слышал про такую коровью болезнь? Чужих в Калиновку велено не пущать. Я вот и вижу, что вы чужие. Вертайтесь назад. Нет проезду. Ящур.

Вася почесал затылок, быстро закурил, предложил деду. Тот от сигареты не отказался.

— Ну отворяй, мы торопимся, — сказал шофер старику, когда тот прикурил.

— А я не тороплюсь. Мне торопиться некуда. Рази на погост. Да и там места завсегда есть — не опоздаю.

— Ты чо? — занервничал шофер и стал трясти спящего Юшкина. — Валерь Маркыч, а Валерь Маркыч! Шлагбаум! Проснитесь, Валерь Маркыч!

Юшкин, проснувшись, ошалело смотрел на Васю.

— Шлагбаум, говорю, Валерь Маркыч. Не пускают. Дедок тут серьезный отыскался.

— Какой еще шлагбаум? Мы что?.. Мы где?..

— Да у Калиновки. Ящур какой-то. Не пускают.

Юшкин вышел из машины, подошел к старику.

— А ну, дед!..

— Чо дед? Я семисят лет дед.

Юшкин смерил старика взглядом, пошел к машине, налил в стакан, поднес старику.

— Выпей. За встречу. К тебе, вон, земляк приехал, а ты не пускаешь.

— Эт какой еще земляк?

— А вон тот. — Юшкин позвал Геннадия.

Пока Шубарин вылез из машины, заедала ручка, Юшкин спросил старика:

— Шубариных знал?

— Шубариных?! Как не знать! Эт Шубариной Марьи сын?!

— Точно.

Старик как-то весь изменился, хотел идти к машине, но остался стоять.

— Екорь-мокорь! — воскликнул он и во все глаза смотрел на Геннадия, который наконец справился с ручкой и вылез из машины.

Старик суетливо говорил:

— Дай-кошь погляжу на тебя.

Шубарин поздоровался со стариком за руку.

— Марья, мать-то твоя жива ль? — Дед так и стоял со стаканом в руке.

— Умерла. Три года, как умерла.

Старик смотрел не моргая на Шубарина, словно раздумывал над его словами, смысл которых между тем был предельно ясен и печален.

— Померла, значит... Ну, дак я за помин души ее. — Он поднял чуть стакан.

— Пей, — одобрил Юшкин.

Старик выпил, слегка поморщился, отдал стакан Юшкину.

— А я Евстигней Дроздов. Помнишь такого? Дома-то наши напроть стояли. — И снова не мигая смотрел на Шубарина.

— Ну как же! — воскликнул Геннадий, волнуясь оттого, что вот стоит перед ним тот самый Евстигней Дроздов, которого он когда-то видел каждый божий день, как мать свою, как других соседей, как всю родную Калиновку, места, окружавшие ее.

Что-то надо было сказать старику, а что — Шубарин не мог сообразить. Спросил про здоровье.

— Сторожу вот, — отвечал дед Евстигней. — Жалиться не буду, а все равно скоро помирать. Здоров не здоров, а свои годы прожил. Отойду скоро.

— Ехать надо, — нетерпеливо сказал Юшкин.

— Надо, — нерешительно отозвался Шубарин.

— А вы ехайте, ехайте, — обратился старик Евстигней к Юшкину. — А он, — указал глазами на Геннадия, — на попутке приедет.

— Зачем на попутке? Я за ним через час машину пришлю. Лады?

— Лады, лады, — быстро отвечал за себя и за Шубарина Евстигней Дроздов.

Шубарин молчал, хотя задерживаться «на подступах» к Калиновке ему не хотелось. Но с другой стороны — это ж Евстигней Дроздов. Земляк из земляков, сосед.

Как только Юшкин отъехал, старик Евстигней засуетился:

— Айда к будке, — увлек он за собой Шубарина. — Потом вдруг остановился: — Ты эт, значит, Натолый будешь?

— Нет, — с улыбкой возразил Шубарин. — Анатолий — средний. Я младший — Геннадий. Пуделем меня обзывали. Волосы были белые, как лен.

— Неужли Генка!? — изумился Дроздов. — Екорь-мокорь! Куда времячко-то улетело? Куда?! Вот тебе и пудель! Мужик теперь, а не пудель.

Они сели на бревно возле будки. Уже сильно припекало, стоял непрерывный треск кузнечиков, словно где-то рядом в траве был запрятан невидимый аппарат, издававший треск. Со всех сторон — поля пшеницы, а вдалеке за ними — стена леса. Серая широкая дорога перед глазами, а там, дальше, Калиновка. Отсюда ее еще не видать, она за небольшим пригорком.

Родина...

Шубарин испытывал странные необъяснимые чувства: и радость и печаль; удивление брало — жил, жил в этих местах и вдруг, как бабочка, упорхнул. А ведь здесь главное — начало.

А старик Евстигней отер пот с лица рукавом пиджака, свернул самокрутку.

— Нравилось Марье в городе-то? — спросил он Шубарина.

— Сначала тосковала, а потом привыкла.

— А куда денешься — привыкнешь. — Евстигней глубоко затянулся, выпустил дым, снова спросил.

— Замуж-то там в городе не выходила?

— Это как? — удивился вопросу Геннадий.

— Обноковенно.

— А зачем ей было выходить?

— От екорь-мокорь! — воскликнул старик Евстигней. — Затем, зачем другие выходят. Она женщина-то была куда с добром. Только детская. Считай, полжизни без мужа прожила. Твой отец-то рано помер. Кажись, в тридцать пять.

— Не помню, — смутился Шубарин. — Вроде так.

— А как не так, когда так. Я все, что касается Марьи, помню. Свагался к ей — не пошла. А зря, екорь-мокорь. — Евстигней Дроздов вздохнул.

— Не говорила она мне об этом, — отозвался Шубарин, странно глядя на Дроздова, подумав неожиданно: в своем ли уме старик?

— Любовь у меня была к твоей матери. Сильно даже болезненная. Моя-то жинка, коль помнишь, в родах померла. Ну стал я от одиночества на мать твою поглядывать, да и напоглядывал. Не стало мне без ее житья, а она боялась за меня идти — думала вас стану обижать. Она вас-то шибко берегла.

Евстигней Дроздов искоса посмотрел на Шубарина, сказал:

— Будешь на ее могилке, дак от меня поклон ей передай. Дескать, велел Евстигней Дроздов кланяться. Желает, мол, сна спокойного, потому как жизнь была чижелая, но праведная.

Старик Евстигней замолчал. Шубарин видел волнение на его лице. Он часто затягивался самокруткой, распространяя острый давно забытый Шубариным запах махорки.

— Бывало, говорю, — снова как очнулся Евстигней Дроздов, — Марье-то: чо ты уродуешься, гнешь хребтину одна без мужика? Чиже-ло ведь. Дрова — сама. Сено — сама. Огород — сама. У меня, говорю, руки работу любят. Она поплачет, а замуж не идет. Говорит, они, мол, дети разные: один тебя признает за отца, другой — нет. Чо, говорит, я их для того родила, чтобы мучить? Вот ведь как получалось, екорь-мокорь!

Шубарин молчал.

Но тут к шлагбауму подкатили «Жигули». Дроздов нехотя поднялся и пропустил машину.

— Чего ж не завернул, Евстигней Алексеевич? — спросил Шубарин, когда старик Дроздов вернулся к нему.

— А не надо. Эт я с вами шутковал. Больно тоскливо одному сидеть цельный день. Там, вишь, опилки. Медициной смочены. Проехал — и зараза убитая. — Евстигней Дроздов широко улыбнулся. Схитрил маленько. А не зря. Тебя вот, сына Марьиного, повидал.

Из Калиновки Шубарин уезжал вечером, когда солнце почти касалось верхушек дальнего леса, облив закатным золотом поля, березовые колки.

Юшкин, порядочно навеселе, рассказывал анекдоты и сам над ними смеялся, потому что Шубарин его не слушал, а шофер Вася только устало улыбался.

Шубарин надеялся, что старик Дроздов еще дежурит — хотелось с ним попрощаться. И точно. Когда подъехали к будке, с бревна встал старик Евстигней. Что-то было у него в руках, узелок какой-то.

Шубарин вышел попрощаться.

— Быстро нагостился, — идя навстречу, говорил Евстигней Дроздов.

— Все спешим, — неопределенно отозвался Шубарин.

А старик Евстигней протягивал ему узелок.

— Что это?

— Землица наша, калиновская. Марье на могилку насыпь. Пусть вспомнит родное село. Может, и меня вспомнит.

Шубарин бережно взял узелок.

Засигналил «Москвич».

— Нетерпеливый начальник-то.

— Нетерпеливый, — согласился Шубарин.

— Счас вся жизнь нетерпеливая...



Панов Геннадий Петрович родился в 1942 году. Автор поэтических книг «Доброта», «Застава», «Июнь», «Отрада», «Тихий колокол», изданных на Алтае и в Москве.

Окончил Высшие литературные курсы при СП СССР. Член Союза писателей, лауреат премии Ленинского комсомола Алтая. Живет в Барнауле.

Геннадий ПАНОВ

Гениальность «Слова о полку Игореве» — вот причина того, что к этому памятнику русской литературы XII века снова и снова обращаются поэты нового времени, чтобы средствами современного поэтического языка пересказать древнерусский текст «Слова». Поэтому появление новых переводов и переложений — явление вполне закономерное и естественное, несмотря на множества переводов XIX—XX вв., в том числе и переводов очень совершенных. Вот что пишет по этому поводу академик Д. С. Лихачев: «...почему вообще нужен новый перевод при наличии других, хороших?.. Как невозможно в любой, самый большой телескоп вместить реальную звезду, так невозможно любым, самым хорошим переводом заменить гениальное произведение. Десятки, сотни телескопов будут направлены на «Слово о полку Игореве», и все они, если они только добросовестны и компетентны, будут открывать в нем что-то новое, не замеченное предшествующим».

Работа Геннадия Панова добросовестна и компетентна, она интересна. «Поэтическое двенадцатиглавие» Г. Панова — не перевод «Слова», а переложение древнерусского памятника, скорее даже вольный поэтический пересказ. Такой тип современных интерпретаций «Слова» широко распространен в литературе. Необходимо, однако, подчеркнуть, что автор, свободно пересказывающий «Слово», находится в более трудном положении, чем переводчик: он скорее может исказить, вульгаризировать текст оригинала. Геннадий Панов избежал этой опасности: его работа в целом отличается бережным, строгим отношением к древнерусскому тексту «Слова о полку Игореве»...

Считаю, что Геннадий Панов сумел передать основную идею, основное настроение «Слова»: осуждение междоусобиц, забота и печаль о страданиях народа, патриотизм, воинская доблесть; его переложение-пересказ оригинально и заслуживает публикации.

Л. А. ДМИТРИЕВ,
доктор филологических наук,
Пушкинский дом АН СССР, г. Ленинград

Слово о полку Игореве

ПОЭТИЧЕСКИЙ ПЕРЕСКАЗ В 12-ти ГЛАВАХ
ГЕННАДИЯ ПАНОВА

I

НЕ ПО ЗАМЫШЛЕНИЮ БОЯНА...

Соколы в небесные объятья
высоко взлетают —
молодеть!..
Не пристало по старинке, братья,
о походе Игоревом
петь.

Пусть начнется,
солнцем осиянна,
и споется песня до конца
не по замыслению Бояна,
вещего сказителя-певца.

Ибо тот Боян —
соловей славян
гусли в руки брал,
волхвовал-играл.

Мысль летягою-векшей по древу
скакала да прыскала,
серым волком
ярами-оврагами рыскала,
прозорливым орлом
в поднебесье ходила без усталости:
ныне — в Киеве,
завтра — в Суздале.

И знобила песня непростая
многотрудной
радостью побед,
и неслись за лебединой стаей
десять быстрых соколов вослед.

Только в небе
скорый на расправу
первый сокол
лебедь настигал —
лебедь пела славу Ярославу,
а другая —
храброму Мстиславу,
что сразил Редедю наповал.

Рань плыла над Русью, как туман,
чтоб слова в душе не заскорузли:

молодо надеялся Боян
на персты и звончатые гусли.

Рокотали струны,
и служили
песни князю
и его дружини...

Храбрость взяв
над разумом строки
и в боях мужая с каждым годом,
Игорь-князь повел свои полки
в степи половецкие
походом.

ЗНАМЕНИЕ. КЛЯТВА ИГОРЯ

И взглянул на солнце Игорь-князь,
и десница князя задрожала:
тьма,
полки прикрывшая,
клубяся,
по земле,
по травам побежала.

И открылись,
как с холма, чужбина,
звезды в небе среди бела дня.
Вздригнул конь и, осадив коня,
князь воскликнул:
— Братья и дружина!
Лучше нам убитыми лежать,
чем в полоне под камчой дрожать!

Пусть летит по утренней росе
верный конь,
чтобы однажды с кручи
пред тобой предстал во всей красе
синий Дон
в движении могучем.

Эта страсть,
как огненный клубок,
жгла,
томила до святого тона.
Путь широк.

Дон истинно глубок.
Синева таинственно бездонна.

И презрел знаменье Игорь-князь,
под знамена первым становясь.

— С вами, братья-русичи,
клянусь:
на скаку
копье сломить за Русь,
с вами, братья,
раскатившись громом,
за родную землю —
не за страх —
либо Дону изопьем шеломом,
либо прахом
ляжем на холмах!

* * *

Жарко бьется зарево знамен,
гнется степь под тяжестью кургана...
О Боян, о соловей времен
древних троп Велеса и Трояна,
ты бы, вдохновеньем упоен,
на заре
до поднебесья грянул:
«То не ветры в Диком поле так свистят —
это соколы князь-Игоря летят!
И седыми ковылями там и тут
к Дону клуши половецкие бегут.
Ржут гневные там, где катится Сула,
а уж в Киеве звонят колокола!

Трубы в Новгороде грянули с утра,
а в Путивле в стягах плещутся ветра!»

III

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ПОХОД

Ждет князь Игорь,
брата Всеволода ждет,
чтоб с буй-туром
вместе выступить в поход.

Брату милому
за преданность мечу
это званье —
что кольчуга по плечу.

Прискакал. Лицо от радости
горит.
«Здравствуй, брат мой,
свет мой светлый», —
говорит.

«Кони рвутся в бой,
свято славь мечи,

оба мы с тобой —
Святославичи!

Так седлай гневных поскорее, брат,
а мои уже под седлом стоят,
под седлом стоят,
бьют копытами,
бьют подковами
громовитыми.

А курян моих
знает друг и враг:
колыбелил их
звук трубы в боях.

Не зазря курян
знает враг и друг:
с острия копья
вскормлен вольный дух.

Луки, стрелы храбрым воинам с руки,
все яруги им известны, родники.

Рыщут в поле
и бесстрашные в судьбе
ищут славы — князю,
почестей — себе!»

* * *

Время в стремя встать ногой —
и на коня.
Едет Игорь.
Меркнет солнце среди дня.

И на степь,
века не знавшую границ,
ночь обрушила
кромешный ужас птиц.

Взвился див,
с вершины дерева во мгле
кличет вести он
незнаемой земле:
Волге,

Сурожу,
и Корсуню,
и тьме —

где бояван тьматороканский
на холме.

И навстречу войску Игоря в ночи
засверкали половецкие мечи,
неизвестными дорогами кругом
скрип тележный покатился,
будто гром.

Дик и страшен
половецкий скрип телег...

Игорь к Дону
движет войско
на ночлег!

...Пляшет пламя.
Как пророчество судьбы,
шумно вороны покинули дубы.

Волки воют по оврагам, и орлам
скоро с ними
пир делить
напополам.

Брежут лисы на щиты
из ковыля.
...За холмом уже ты,
Русская земля!

* * *

День забрезжил.
И, знамена обагрив,
отпылала по-над степью
свет-заря.

Встали русичи. Багряные щиты
строй с достоинством сомкнули —
без тщеты.

Встали русичи,
бесстрашные в судьбе:
ищут славы — князю,
почестей — себе!

IV

КОПЬЯМ РУССКИМ ИЗЛОМИТЬСЯ!

Лишь мечи сверкнули,
как орала,
по движенью княжеской руки
налетела конница и смяла
в поле
половецкие долки!

И храпели бешеные кони,
и, от скачки той помолодев,
русичи отважные в погоне
полоняли
луноликих дев.

Брали ткани-оксамиты, злато,
епанчой —
где было не пройти —
грязи непролазные богато,
топи все —
мостили на пути.

Потоптали в пятницу поганых —
пусть взывают к идолам в мольбе! —
и полон
весь поделен
желанно:
кметю* — девка,
древко, князь, тебе!

* * *

Снова ночь настала.
В чистом поле
дремлют внуки Ольгова гнезда.
Далеко, однако же, по воле
залетели соколы сюда!

Залетели соколы далече
от гнездовой родины сейчас.
Да не тронет
половецкий кречет,
не спугнет дремоты
с ясных глаз!

Гасит ветер
искры пепелища,
и зола седа, как солончак.
...Серым волком
Гзак коварный рыщет,
следом к Дону
правит след Кончак.

* * *

Густо в травах кровенеют зори,
и от моря —
черного с утра —
потянулись черные, как горе,
тучи и соленые ветра.

В черных тучах
молнии трепещут:
грому быть,
дождям и стрелам — лить.
Тщатся тучи
пологом зловещим
все четыре солнца заслонить.

Время —
стрелами хищно изострится,
хлынуть ливнем в громовой пролом.

Время —
копьям русским изломиться,
время —
саблям острым иступиться
на реке Каяле о шелом...
О земля родная за холмом!

* Кметь — ратник.

* * *

Лук стянула тетива тугая,
звук подобен боевой струне.
Сеют стрелы ветры,
помогая
вражеской гортанной стороне.

Пыль метут в глаза
Стрибожьи внуки
так, что в поле
не видать ни зги.
С Дона помутневшего, с излуки
обступают Игоря
враги.

Слух забило
окайным кликом,
сохнет в горле
горечь чебреца.

Встала Русь в молчании великом:
щит к щиту —
чтоб на смерть,
до конца!

* * *

Не пристало уповать на случай —
грудь вперед и разворот плечом! —
в гуще боя
Всеволод могучий
к брату
пробивается
мечом.

Хороша булатная поэма —
грозный взлет каленого огня:
лишь слетают шишаки и шлемы
под копыта
гордого коня!

Не пристало помышлять о ранах —
как там Игорь,
где его хоругвь! —
навалились полчища поганых,
отбиваться
не хватает рук!

Встало дыбом и упало поле,
конь ли дышит,
жжет ли суховой!..
И не время думать о престоле,
о прекрасной Глебовне своей!

У

ТЯЖКИЕ ОЛЕГОВЫ ПОХОДЫ

Было время — как вещали струны —
и стращали русичей перуны.

Шли лета без горя и печали —
люди князя Мудрым величали.

Вспоминались и другие годы —
тяжкие Олеговы походы.

Тот Олег
и не жил по глаголу —
спал в седле
и на земле вповал,
он из ножен
доставал крамолу,
из колчана
пашни заседал!

В стремена
вставал в Тьмуторокани —
а коня разгоряченный мах
с поля брани
слышали заране
и в домах,
и в княжьих теремах.

На миру
за горести-печали
князя Гориславичем
прозвали.
Ссорились на свадьбах
и на тризнах,
брат ли, сват ли —
словом не перечь!
Век завидной человечьей жизни
обрывал
на поле брани
меч.

В чистом поле —
не бывало плоше —
не дружили с утренней звездой:
пахарь не покрикивал на лошадь,
не шагал оратай
бороздой.

Но зато,
покинувши курганы,
меж собой добычу поделя,
воронье
картавило погано,
оскверняя
русские поля.

...Были годы — грозы полыхали,
но такого —
слыхом не слышали!

VI

ПЕЧАЛЬ ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Да, такого
слыхом не слыхали:
день и ночь
и снова — день и ночь
сабли о шеломы громыхали,
копья
щит стремились превозмочь!

Били стрелы
сквозь кольчугу в тело,
сколько пало —
нести им всем числа!..
Кровь впиталась в землю,
почернела
и печалью
из земли взошла.

* * *

Что за шум там слышится
поутру!
Что дрожит-колышется
не к добру!
Игорь-князь пытается
дух поднять —
повернуть

остатнее войско
вспять.

Как пробиться хочется
напрямик:
взвился красным кочетом
и поник
под стожильной тяжестью
стойкий стяг,
знать, в дружине княжеской
пал костяк.

Тут, у Дона синего,
у крутой излучины,
взяли братьев силою,
разлучили —
скрученны х...

Что за шум там слышится
поутру!
То листва колышется
не к добру,
шепчется по-своему —
не понять.
Пали в травы воины —
не поднять!

* * *

Мертвых мучить
враг уже не волен,
по живым
прошлась плетью орда...
Покатились перекасти-полем
по Руси
обида и беда.

И металась лебедь над Каялой,
словно горе черпала крылом,
и береза во поле стояла
и в слезах грустила о былом.

Раньше жили мирно да богато.
А сегодня —
брат идет на брата,
князь на князя
меч булатный точит —
Русь от этих распрей
кровоточит!

Спорят братья:
— То мое и это!
И не слышат
доброего совета.

Спорят братья
из-за крохи малой
до размаха
сечи небывалой.

Брат на брата
скочет, точно кочет,
а поганый
в стороне хохочет!

* * *

Низко ли, высоко ли
птиц гоняли соколы
да на горе
рядом с морем
пали сами, около!
Море — раскачалось.
горе — раскричалось.

Плачет Карна, кличет Жля,
вставши в изголовье,
плачет русская земля,
голосит по-вдовьи:

«Муж ли, сын ли, лада мой,
почему не рядом!
Как же вас вернуть домой
мыслью,
думой,
взглядом!!»

Не вернуть, не воскресить.
Долго вдовам голосить.

* * *

Черн Чернигов.
Над днепровской кручей
Киев закручинился могучий.

И печаль с тоскою
пополам
растеклась обильно
по полям.

Вот что Игорь
вместе с братом спесью
сотворили,
тишину поправ:
пробудили жажду черной мести,
что прибил грозою
Святослав!

Он сурово поводил очами —
половчане падали с мечами!
Он конем топтал степные дали —
и курганы ниже оседали!

А его шелома позолота
иссушала топи и болота!

Налетел, как вихрь, и вырвал хана
из седла
и бросил в горячах:
пал Кобяк на землю бездыханно,
после —
в княжьей гриднице зачах!..

Пели славу Святославу реки,
песни плыли из варяг во греки.
Наши земли и чужие дали
Игоря, жалея, осуждали.

Осуждали Игоря, жалея,
утверждали, баяли одно:
потому Каяла и мелее —
князь спустил
все золото на дно!

У Каялы братья пересели
на потник
из княжьего седла...
И поникло на Руси веселье,
и печаль великая взошла!

VII

СОН СВЯТОСЛАВА

В Киеве
в тревожном терему
(что-то скажут
думцы-ясноведы)
князь проснулся,
и сошлись к нему
мудрые бояре для беседы.

«Как сей сон, бояре, толковать! —
князь спросил,
еще томимый дремой. —
Всю-то ночь
волхвы мою кровать
укрывали черной паполомой*».

Осыпали жемчугом меня
из худого вражьего колчана.
И вино,
отравой опьяня,
прямо рогом
черпали из чана.

Эта ночь,
что смутная тоска,
так была виденьями богата:
глянул я —
а терем без князька
и без матиц —
каждая палата.

В дальних дебрях
плакали ветра,
и вороны, серые в печали,
душу мне терзали до утра».

И бояре князю отвечали,
уважая слово и друг друга:
«Ум твой, княже,
полонила туга:
с отчего стола
не свистели —
не спросясь,
два сокола слетели.

Улетели соколы из дому,
покаялись
испить шеломом Дону.
На чужбине
соколы ослабли,
крылья им
подсекли злые сабли,

а самих —
в железные путины,

* Паполома — покрывало.

чтоб познали
тяготы чужбины!»
Так бояре князю отвечали,
уважая слово и седины.

Святослав сидел в большой печали,
и бояре были с ним едины.

Думал князь о жизни изначала,
и дружина в гриднице молчала.

Из степи
пришли худые вести:
там погасло
солнце русской чести.

Нет для горя и печали мерки —
тут любое сердце захолонет:
оба ясных месяца померкли —
оба сына Игоря
в полоне.

На Каялу и на степь ковылью
тьма упала
непроглядной пылью.

На хвалу обрушилась хула.
Онемели враз колокола.

Черный див
на Русь накликал горе.
Взвеселилось
в готских землях море.
И, играя русским златом,
девы
воспевали давние века,
злую месть
лелеяли напевы
за бесчестье
деда Кончака.

...Думал князь.
Дружинники молчали.
И ковши застольные скучали.

VIII

ЗОЛОТОЕ СЛОВО СВЯТОСЛАВА

И, от ратных подвигов устав, —
только мир — всему первооснова! —
изронил
великий Святослав
со слезами смешанное слово:

«О мои сыновцы-сыновья,
баловни удачи и победы,
рано вы пошли концом копья
поля половецкого
отведать!

Знаю:
ваши храбрые сердца,
что мечи
из харалужной стали,
да не по совету мудреца
те мечи
из ножен вы достали.

Горячи, неопытны в душе,
бесшабашной смелостью
едины.

Пыль похода вашего уже
оседает на мои седины.

Пошатнулся княжеский устав,
нет во многих землях
прежней веры.

Власть теряет
брат мой Ярослав,
где его хранители застав:
топчаки,
ревуги

да ольберы!!
Те, бывало, на краю земли
в грозных сечах,
в поединках малых
славу предков
строго берегли,
как чекан
на дедовских кинжалах.

А вот вы,
седлаючи коней,
порешили тайно, словно тати:
украдем мы
славу давних дней
да и новой —
на двоих нам хватит!
Молодость не старится до срока,
мудрость —
не стареет никогда:
птиц взбивает

высоко-высоко
только взрослый сокол
от гнезда!

Не теряет он гнезда из виду —
никому не даст его в обиду.

Кружит сокол над землей устало,
злое время на Руси настало:

князь на князя
меч булатный точит,
мне в трудах
никто помочь не хочет.

И уже — вы знаете и сами —
залит Римов
горькими слезами.

Снят дружиной,
налетевшей скопом,
князь Владимир
с половецких копий».

IX

ОБРАЩЕНИЯ
К РУССКИМ КНЯЗЬЯМ

Князь Всеволод,
уменьем и числом
кому радеть-следить
за отчим домом!
Ты можешь Волгу
расплескать веслом
и Дон до дна
повычерпать шеломом.

Ужель,
став князем суздальских земель,
забыл в заботах
нашу колыбель!!

Иным бы вышел поворот судьбы —
приди на помощь к Игорю ты кстати:
и половчанки
шли бы по ногате,
по самой мелкой рёзани —
рабы.

Тебе подвластна
славная Рязань
и все ее приокские пределы.
Изронишь слово в утреннюю рань,
ее князя —
твои живые стрелы!

* * *

Бесстрашный Рюрик,
доблестный Давид,
вам степь бросала
седла в изголовье.
Щит вашей славы
песнями повит,
меч обогрен
густой степною кровью.

На вражеские полчища знамен
отважный воин
славно разозлен:
так, выгнувши огромные рога,
мчит дикий тур
на своего врага.

Сама судьба
немедля вам велит
в злат-стремень встать
да разгуляться в поле
за землю Русскую,
за Игоря,
за волю!

* * *

Князь Ярослав,
на галицкой земле
тебя недаром кличут Осмомыслом.
Высок твой трон
в подоблачном кремле
своим предназначением
и смыслом.

Едва помыслишь —
так тому и быть:
всегда твоя железная пехота
готова путь в Карпаты
заступить
и на Дунае затворить
ворота.
Текут по землям
грозы в судный день
от южных гор
до снежных деревень.
И за морями
с отчего стола
разит неверных
верная стрела.

Так что же медлит, князь, твоя рука —
в неволе зять,
дочь о спасенье молит —
пошли скорей полки на Кончака
за землю Русскую,
за Игоря,
за волю!

* * *

И ты, Роман,
забывший слово — страх,
и ты, Мстислав,
не знающий испуга,
ширяясь в небе
на семи ветрах,
что соколы
ввысь

тянете

друг друга!

В семье крылатых — оба храбрецы.
В латинских латах ваши молодцы.
Земля дрожит,
когда ступают смело
они в тяжелых латах. И не раз

сыны Литвы —
 ятвяги, деремела —
 шептали заклинанья онемело,
 пред ними
 на колени становясь.
 и половчане,
 копя побросав,
 пред их мечами
 свой смягчали нрав.

* * *

О Ингварь-князь и Всеволод, и все
 Мстиславичи по отчине и крови!
 Где ваши шлемы
 в золотой красе!
 Мечи из лясской стали
 наготове!

Да приведет дорога и звезда
 вас, сыновей волынского гнезда,
 загородить,
 закрыть ворота полю
 за землю Русскую,
 за Игоря,
 за волю!

X

ВРОЗЬ ПОЮТ ПОЛОТНИЩА ДРУЖИН

Волна Сулы
 плескаться не вольна,
 не движет стрежень
 грозная Двина.
 Там половчане
 поят табуны,
 а здесь Литва
 льет воду из Двины.

Лишь Изяслав,
 князь гродненской земли,
 благочестивый муж своей семьи
 не дрогнул,
 не измялся калачом
 и вражий шлем
 попробовал мечом!

Кругом багрово пенилась трава.
 Он пал на щит и услышал слова.
 И смысл был темен
 и тревожно ал,
 как будто в травах
 кто-то волхвовал:

«Спи, княже, спи — орланы отпарили,
 твою дружину крыльями укрыли!

Спи, княже, спи и очи не труди —
 залижут звери
 раны на груди!»

И наклонились травы, присмирели,
 когда из тела князя
 не спеша
 в златое

изронилась

ожерелье

и вознеслась
 жемчужная душа.

А стяги братьев, к помощи глухи,
 хлестались,
 бились, точно петухи.

Лишь трубы городенские в печали
 кричали

и кричали,

и кричали...

* * *

О вьуки Ярослава и Всеслава,
 меч на Руси —
 запретная забава!

Во имя славы той,
 что не забыта,
 во имя самых дорогих имен —
 пока не сбросил конь вас под копыта —
 склоните древки
 боевых знамен!

Тесна кольчуга старая в плечах,
 не счесть зазубрин новых на мечах
 от половецкой стали, от иной —
 но больше,

больше,

больше от родной!

Пускай не тужат ни жена, ни мать,
 раздоры сеять —
 горе пожинать!

* * *

Было так
 и в памяти хранится:
 век седьмой катился по земле.
 За разбой томившийся в темнице,
 князь Всеслав,
 совсем как о девице,
 возмечтал о киевском столе.

И, недаром поклоняясь чарам,
 из поруба выполз,
 как змея,
 ум смутил

завистливым боярам,
влез на трон
по древку копия.

Не украсил славой княжий терем —
с поля брани
хитростью былой
обернулся в полночь
лютым зверем
и сбежал,
объятый синей мглой.

В три наскока
вновь потешил душу:
сшиб ворота в Новгород с петель,
славу князя Мудрого порушил,
до Немиги наметал петель.

* * *

А на этой на реке Немиге
нет ни тока,
ни овина
и ни риги,
ни цепа,
ни молотила,
ни кичиги —
молотьба идет иная на Немиге!
Молотьба идет булатными цепами —
поле устлано здесь русыми снопами.

Жизнь на ток кладут,
как жито, то и дело,
веют души на большом ветру от тела.

Берега кровавы густо
слева, справа —
вот какая у реки Немиги слава!

* * *

Князь Всеслав
судил, рядил и правил,
сеял смуту,
знал в законах толк.
Днем —
конем горячим дерзко правил,
ночью —
рыскал в поле, словно волк.

Золотеет утренняя мгла.
В Полоцке звонят колокола.
В храм вступают с верою в душе.
Князя нет —
князь в Киеве уже!

Золотеет утренняя мгла.
В Киеве гудят колокола.

Проповедник вышел на амвон.
Князя нет —
в Тьмуторокани он!

Солнце перерыскивал сей князь —
и молчали певни, устыдятся!

Был он храбр.
Служил копьё и древку.
И в соседях беспокойно жил.
Про него давно Боян припевку
прозорливо мудрую сложил:

«Будь смел в боях,
как птица в небесах,
но жизнь твоя —
у бога на весах!»

* * *

О земля родная за холмом!
Как не вспомнить ныне о былом:
эта слава незакатных дней —
торопили русичи коней,

стар Владимир-князь, а вот возьми
пригвозди к горам его геоздьми,
не сидел он дома, не сидел:
все за землю Русскую радел!

А сегодня —
непотребный срам:
что ни князь —
свой стольный град и храм,
врозь поют полотнища дружин,
в славе русской —
снова недожин!

XI

ПЛАЧ ЯРОСЛАВНЫ

Ярославна рано плачет над путивльскою
стеною
не кукушкой вековечной, а сердечною
женою,
плачет, кличет — этот причет
на Дунае, на Каяле
сердце русское услышит и откликнется
в печали:

«Как бы я сейчас желала
стать неведомою птицей,
в небо взмыть — и на Каяле
рядом с ладой очутиться.
Да живой росою ранней
омочить рукав шелковый,
да утишить князю раны
от стрелы ли, от подковы!»

И ответил благодарный Игорь:

— О Донец,
поклон тебе земной:
твой гонец — ветроворотный вихорь —
позамел в степи
следы за мной!

Ты лелеял нас
теплом вечерним,
травы стлал и, верно, не за страх,
точно гоголь,
 чайца и чернеть,
на воде стерег и на ветрах!

...А вот Стугна —
славою худа,
мутновата в омутах вода.
Век прошел —
а горько вспоминать:
здесь рыдала
безутешно мать,
простирала руки над бедой —
юный князь
остался под водой!

Горевал Владимир Мономах —
и венки качались на волнах.

* * *

Не сороки трескотят в тревоге,
не удоды вторят:
— Худо тут!..
Гзак с Кончаком скачут по дороге,
меж собою
разговор ведут.

Смолкли галки.
Стих вороний грай.
Затаился половецкий край.
Даже слышно,
как из-под копыт
полоз, уползаючи, шипит.

Рвется в клочья пена на бегу.
Игорь-князь на русском берегу.

Дятлы метят знаки на коре.
Соловьи ликуют на заре.

* * *

Вспятив иноходца на скаку,
бросил Гзак
сквозь зубы Кончаку:
«Упустили сокола домой —
соколенку голову долой!»

И Кончак ослабил удила:
«Не воротит сокола стрела,
а сокольцу
красною девицей
накрепко опутаем крыла!»

Хитрый Гзак
кинжально сузил взгляд:
«Наплодит та пара соколят
и уйдет на Русь —
и снова птицы
избивать нас в степи прилетят!»

* * *

Песнетворцам
дар особый дан —
смело князя поучал Боян:
«Голову с достоинством носи:
худо —
безголовым на Руси!»

...Светит солнце, радостью струясь, —
в стольный Киев
едет Игорь-князь.
Едет он по градам и по селам

ко святой иконе на коне.
Хороводы девушек веселых
радуются
в русской стороне.

Рады веси,
веселы и грады,
льются песни —
лучшей нет награды!

Вот и время подоспело, братья,
славу князьям
и дружине спеть.

Соколы в небесные объятья
высоко взлетают —
м о л о д е т ь!

Иван ШУМИЛОВ

БЕЛКА В КОЛЕСЕ

РАССКАЗ

Было у Дементьевны пятеро детей: три дочери и два сына. Дочери выросли, замуж повыходили и разлетелись в разные стороны, сыновей война отняла. Там сложил голову и их отец.

Осталась она в доме с невесткой Фросей, женой младшенького сына. Да еще с двумя внуками и внучкой.

Растут они, радуют мать и бабушку.

Свекровь с невесткой живут дружно, не ссорятся. Одна забота у них: вырастить, поднять детей. Сама Фрося ворочает чуть ли не сутками: то в поле, на току, на сеялке, то на покосе, то на ферме...

Весь дом лежит на свекрови. Поворачивайся, бабка! А ей хочется и Фросе угодить, чтобы не замаялась баба окончательно, и в дому, на дворе порядок блюсти.

Встает Дементьевна раньше петухов. Надо печь истопить, еду приготовить, накормить кур, поросенка, подоить корову и выпроводить в стадо, либо, если зима, корму задать. За всей живностью надо досмотреть. Взять хотя бы того же поросенка: ему картошку свари полный чугун, перемешай ее с отходами, с отрубями, остуди и только потом вывали в корыто... Хрюшка любит, чтобы ее приласкали, почесали, за ухо потрепали.

А с огородом сколько мороки? Господи, каждую грядку за лето на сколько раз прополешь! Часами гнешься над ней под жарким солнышком, «целуешься» с каждой травинкой. А тяпкой сколько орудуешь? А воды сколько перетаскаешь? В глазах метлячки бегают... Их, грядок-то, в огороде не считано: морковь, свекла, помидоры, огурцы, лук, чеснок... Да еще капустник есть под горой, у озера. И все нужно — все за зиму подметется. Картошку, правда, Фрося сажает на пашне и сама ее обрабатывает, старую свекровь не тревожит.

А детишки? За ними глаз да глаз нужен, чуть отвернешься — глядь, уже баловство, уже набедокурили. Потом сама же себя ругаешь за оплошность.

Вечером доползет Дементьевна до кровати и затихнет. Утром встанет, косточки и жилочки разгладит, кровь разгонит — и снова за дела. Разомнется — легкой на ногу делается, и все у нее пойдет споро и аккуратно. Раскраснеется — ни за что не дашь семидесяти. У докторов в жизни не бывала.

Но вот приехала из города дорогая гостья — младшая — Капка. Этакая широкая в бедре, высокогрудая, гладкая, платье не висит ни-где, а сидит на ней, как влитое. Сорок лет уже Капке, а лицо у нее, слава богу, будто девичье — розовое, тугое, сияет, как солнышко. В хорошей жизни живет, с хорошим мужем. Красавица.

— Любит меня Петя. Трясется надо мной, — хвалится она. — Вздумаю на базар или по ягоды, по грибы — пешком идти не позволит. Да и в трамваях, в автобусах толкаться не даст. Раздобудет, подгонит машину — садись, Лина, рядышком.

— Капа, когда это ты стала Линой?

— Да это же так получилось, мама. Капа — значит Капитолина... Но Петя говорит, что это похоже на «капиталиста», поэтому начал звать меня Линой. Лина да Лина... Я привыкла. А что, разве плохо?

— Нет, красивое имя. Только я-то буду звать по-старому, как звала.
— Конечно, мама!

Капа сообщила, что недавно они с Петей в новую квартиру вселились. Все в ней есть: холодная и горячая вода, душ, ванна, вообще все удобства. Пол паркетный, из дубовых брусочков. Правда, разохся, скрипит, но ковры скрадывают скрип. Все у них чудесно, только одного не хватает: детей. И они думают взять ребеночка из детского дома.

— Правильно, — одобрила мать. — Без ребячьего крика скучно. Хоть бы и всякого блеску в доме было много, всякого богатства, а без детишек все это хлам один.

Однажды Фрося на работу ушла на весь день, и Капа осталась вдвоем с матерью, улучила момент и зашептала, как заговорщик, тревожно, с оглядкой, чтобы даже и стены не слышали:

— Мама, гляжу я, замордовала тебя Фрося.

«Мать да дочь — темна ночь», — говорит поговорка. Знала Капа, что ее слова мать не передает никому, и поэтому зашептала смелее:

— В прислугах ты у нее, что ли? Право слово, ты и кухарка, и скотница, и огородница.

Дементьевна с удивлением глядела на дочь: такие мысли ей самой в голову никогда не приходили.

— Что ты, Капа, что ты! Не говори так. Живем мы с Фросей, слава богу, тихо-мирно, ни разу не ругивались. Слова худого я от нее ни разу не слыхивала, даже голоса никогда не повысит, за мать родную держит меня, чуть что — «мама», «мама»...

— Так ведь ты сутками на ногах. Толкешься и толкешься, на минуту не присядешь. Крутишься как белка в колесе.

— Да я сама, сама! Никто меня, Капа, не гонит, не неволит, делаю что могу.

— Сама-то сама, а старые кости отдыха требуют. Возьму я тебя к себе, будешь у меня спать вдоволь, кушать, что душа пожелает. Поедешь? С Петей я уже говорила, он не против.

— Не знаю, дочка. Как-то страшно из своего-то угла. Как я к городу-то привыкну? Ой, нет, буду здесь свой век доживать.

— Обижаеть ты меня, мама. Для невестки всю жизнь отдала, а я тебя за сколько лет один раз попросила — и получаю отказ. Не дочка я тебе? Что я у тебя, на дороге подобранная?

Голова старухи поникла, заморгали глаза, и морщины глубже западали в щеки.

— Ладно, Капа, я подумаю.

И вот снова однажды они остались наедине, и Капа опять заговорила об отъезде. Дементьевна слушала ее спокойно, однако и на этот раз согласия не дала.

— Все я обдумала. Конечно, Фрося теперь и без меня может прожить: ребятишки уже в школу ходят, хотя нельзя сказать, что совсем взрослые и от пригляда отошли... Но вот беда, дочка, привыкла я к ним, к детишкам-то, ведь если уеду — все сердце изболит по ним. Кажется, и одного дня без них не проживу.

— Ничего, мама, как-нибудь поотвыкнешь. А мы с Петей тоже ребеночка возьмем, будет тебе забава. Я сюда поехала, а Петя в городе по детским дошкольным домам пустился — ищет хорошенького ребеночка. Приедем с тобой, а он уже подыскал.

— Да, это вы хорошо надумали — ребеночка.

— У тебя, мама, хочу поучиться за ним ходить, вот и зову тебя к себе.

— Ладно, коли так, я согласна. Первое время помочь тебе надо, подсказать кое-что. Без меня не обойтись.

— А мы, чтобы полегче, большого хотим взять.

— Напрасно. Большой, поди, избалован, самовольник. Лучше бы годов трех.

— Ну, там видно будет. Какой понравится. Значит, согласна, мама?

— Куда ж вас денешь, всем охота помочь.

— Ты у нас, мама, гений.

— Это что такое?

— Так меня Петя иногда зовет, говорит: ты у меня добрый гений, Лина. Ну, значит, хороший, удивительный человек.

И вот Дементьевна приехала к дочери. Все правда: и квартира «со всеми удовольствиями», как она выразилась, и стол от жареного и пареного ломится, и спать можно вдоволь, и Петя вот-вот ребеночка привезет... Живи да радуйся.

Зятя она не видела несколько лет. Он изменился, брюшко наел, пальцы гладкие стали, словно припухлые... С работы приходит серьезный. Не пошутит, не посмеется. Не поиграет с Капой...

Разговоры у него одни: про свое учреждение, про сослуживцев. Какого-то Морозова в Москву взяли, на повышение. «В гору пошел», — нехотя сообщил Петя. А вот какого-то Илью Семеныча, наоборот, вниз турнули, «на глубинку», — и Петя хихикает, словно доволен. Дементьевне хочется сказать: «Чужой беде не смейся, голубок». Но она боится вмешиваться не в свое дело. Зять частенько также говорит о премиях и наградах, которыми его обошли, и клянет своего начальника Полубояринова... Впрочем, этому Полубояринову он давно уже все косточки перемыл...

А Капе, видно, тоже скучно все это слушать, и она утягивает мужа в кино или же в гости к знакомым.

Каждое утро, лежа в постели, Петя вздирает ноги, потом на голове стоит (как мальчишка забавляется), пыхтит от удовольствия так, что слышно на всю квартиру.

— Шею сломаешь когда-нибудь, — смеется Дементьевна.

— Это, мамаша, индийские йоги рекомендуют. Так я молодость сохраняю. До ста лет хочу жить!

— Господи, да куда же столько?

— А сколько же надо? — спрашивает зять.

— Свой век, не больше.

— А какой он, свой век-то? Кто его измерял?

— Бог его знает, — сдается теща.

Видно, муж-то у Капы все-таки ученый. Каких-то индийских йогов знает. Конечно, неуча не поставят на хорошую должность. Ценный, видно, человек, раз ему почет такой. И на лице такая важность... Особенно когда на работу отправляется.

Однажды спросила Дементьевна у Капы, где служит, какой пост занимает Петя, и дочка ответила:

— А, мама, при чем тут должность? Просто Петя умеет устроиться... Хотя и образование небольшое, а голова у него не даром на плечах.

— Ну и слава богу, — закончила разговор мать.

Она любила зятя еще за одно: уж больно он хвалил ее стряпню всякую и борщи. Особенно ему нравились олады, которые Дементьевна пекла на простокваше. «Пальчики оближешь!» — говорил он.

А с ребеночком все как-то не получалось. Один раз съездил куда-то Петя — вернулся ни с чем, в другое место направился — и там не вышло.

Капа молчаливо сносила неудачи, скучала в пустых комнатах.

И вот однажды заявляется зять под турахом, хватанул где-то изрядно.

Капа подбежала к мужу — раздевать его поскорее, ублажить, чтобы, не дай бог, шебутьиться не стал, а он громко ораторствовать начал:

— Мамаша, Капа! Я передумал! Никакого нам сопляка не надо! Что он — свет в окне? Возьми ревуна и плаксу в дом — жизни не рад станешь. Капу свяжет по рукам и ногам, от него не отойдешь. Корми, одевай, обувай, обмывай, расти его! А он вымахает и кукиш тебе с маслом покажет: адью, я вас не знаю и знать не хочу! Такие времена теперь, родные дети — и те не признают отцов-матерей, а что взять с приемыша? Я категорически против.

— Петя, ну зачем ты так? Это водка в тебе говорит, — вмешалась Капа.

— Не водка! Это душа моя исповедуется!

— Ты ездил в четвертый детдом?

— Только что оттуда! Нету подходящих! Они, знаешь, там какие? У того мать пьяница, у другого папаша из тюрьмы не вылезит, бандит бандитом, у третьего родительница мужиков меняет, что ни день, то новый... Возьми такого, а он вырастет и каким-нибудь лоботрясом или алкашом станет. Нет, не надо! Одни будем жить!

Дементьевна думала, что зять уже не останется, так его понесло.

Но он все-таки перестал нести околесицу, включил радиолу, заиграла пластинка.

— Слушай, мать! — сказал он приунывшей теще. — Нравится? Заграница! Десятку отвалил за эту пластинку, на базаре купил... Ну, как? Хорошая музыка?

Господи, какая ей нужна музыка, старухе? Самая лучшая, самая сладкая музыка для нее — детский лепет, детский смех...

В эту ночь Дементьевна не сомкнула глаз: вспоминала свой дом, Фросю, детишек, вздыхала, кряхтела...

А вскоре слегла. Всего лишь месяц с небольшим пожила она у дочери ничего не делая, «в свое удовольствие» пожила и вот затосковала, ослабла. Заколело в сердце, руки заныли, ноги забеспокоились, спать не дают, с места на место всю ночь перекладывает их... Одно слово: занедужила.

Капа ей и варений, и копчений — не ест.

Тоска в глазах.

— Мама, может быть, «скорую» вызвать? В больницу лечь?

— Что ты, что ты! Какая больница! Век с докторами не зналась и знаться не хочу! Отлежусь и так... Какие доктора в семьдесят лет...

Через три дня Дементьевна встала с постели, прошла по комнате, сказала:

— Отвези-ка меня, дочка, домой.

— Да ты что, мама? Куда ты, больная? Сегодня поедем к знакомому врачу. Петя договорился. Примут тебя без очереди.

Мать села на кровать и закрыла ладонями лицо. Сквозь пальцы по щекам текли слезы.

— Не делай ты мне зла, Капа. Ради бога вези домой. А то одна поеду. — И она зашаркала к вешалке одеваться. — Ведь я у тебя от безделья умру... Ни ребенка, ни котенка. Неужто мне идти на базар толкаться? Не привычна.

Пришлось вызывать Петину машину, ехать на вокзал.

В поезде мать все лежала молча, только вздыхала, но как только стали подъезжать к знакомым местам — привсталла, оперлась о столик, к окну прилипла.

Пролетели желтые березовые перелески, голые поля с копнами соломы.

— Ну вот, ну вот, мне уже лучше.

Она улыбалась. Жалкой, робкой улыбкой, но улыбалась.

Со станции шла торопясь, словно куда-то опаздывала. Капа удивлялась такой старческой прыти. Когда подходили к дому, встретили выбежавшую из ворот Маньку, младшенькую. Та припала к бабушкиному подолу, обняла за ноги:

— Баба! Ой, мы соскучились!

— Как вы тут живы-здоровы? — спросила Дементьевна, доставая из кармана большую шоколадку в красивой обертке. — На-ка вот полижи... Никто не хворает у нас? («И когда только успела приберечь?» — подумала Капа о шоколадке).

— Что нам сделается! — прыгая, щебетала Манька.

— А где ребяташки-то?

— В школе еще. Митька двойку вчера схватил.

— Ну вот, обрадовала, — сказала старуха. — Скоро вернутся-то?

А мать что делает?

Ей надо было сейчас же, немедленно, видеть всех и слышать.

Да, подумала Капа, матери очень нужны и эти поля, и околицы, и дорожки, которые она всю жизнь топчет, и эта улица, и дом. Своя Ивановка ей нужна. И работа чуть ли не круглосуточная. Без работы она часа не посидит.

Но Капа не знала, что мать еще больше нуждается в любви. Нет, не в той, которую ей дарят дочь, невестка, внуки... Конечно, их любовь для нее, как бражка, что веселит и сердце и голову, но еще больше ей надо самой любить. Любить все, что ее окружает. Без такой любви старое сердце может обескроветь и совсем засохнуть.

— Маняшка, а поросенку-то выносили? Чтой-то он сильно хрюкает.

— Тебя услышал и развеселился, — засмеялась Манька.

Семен ТОРХОВ

СОЛДАТСКАЯ ТЕТРАДЬ

Однажды я заглянул в мастерскую к моему старому приятелю, барнаульскому художнику Федору Торхову. В руках у живописца была объемистая тетрадь в изрядно потертом коленкором переплете. Перехватив мой вопросительный взгляд, он сказал: «Вот от бати досталась в наследство. Писатель из него не ахти какой, но написано от души».

Я знал его отца при жизни. Войну он прошел от звонка до звонка. Не раз он рассказывал нам свои бывальщины, а вот о том, что он вел дневник, услышал впервые и, естественно, заинтересовался записками. В них не было того обилия дат и перечисления операций, кои свойственны многим мемуарам, зато непосредственности в описании событий хоть отбавляй. В коротких рассказах вдруг выпукло вырисовывался образ простого русского солдата с его потаенными, идущими от всего сердца мыслями, судьба незаурядного человека с негрозкими подвигами, из которых слагалась победа над германским фашизмом. Я дополнил рукопись тем, что узнал от автора ранее, в итоге дневник получил как бы законченную форму. И пусть он будет светлой памятью не только бывшему связисту Семену Торхову, а и всем тем, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины.

В. САПОВ

22 ИЮНЯ

Весна 1941 года была тревожной. Германия стягивала к нашим границам свои войска. Советские люди жадно следили за газетными новостями. И когда появилось сообщение ТАСС о том, что немцы переместили воинские части с запада на восток, якобы для отдыха, в это мало кто верил. Затаявшись, хищник готовился к решающему прыжку.

Страна готовилась к отпору врага на случай его внезапного нападения: повсюду шла мобилизация запаса военнообязанных, вскоре дошел и до меня черед. 30 мая вместе с другими резервистами я был направлен в 630-й полк 107-й стрелковой дивизии. Как радист попал в подразделение связи, которое возглавлял старший сержант Ванштейн. Ребята под его началом молодые, недавно призванные на срочную службу. Многие имели высшее и среднее специальное образование, хорошо разбирались в международных вопросах и потому расценивали сложившуюся на границе обстановку, как взрывоопасную и для нас невыгодную во всех отношениях.

Из военного городка нас вскоре вывели в летние лагеря, размещенные в основном бору за сухим логом. Начались учебные занятия. Велись они приблизительно к военной обстановке, но не обошлось и без казусов. Скажем, изучали новые виды оружия, а в части не было ни одного автомата ППСИ и десятизарядной винтовки

СБТ. Не говоря уж о том, чтобы показать плакаты с силуэтами самолетов капиталистических армий.

Конечно, такая выучка нас не сильно радовала.

Как-то сидим на поляне, говорим о наших будничных делах. И тут подходит мой знакомый из саперной роты. До мобилизации он строил бельевой комбинат в Барнауле. Человек с образованием. Инженер-строитель, а его использовали на рядовой должности.

— Дали б мне роту, — сетовал он, — я бы за месяц так ее подготовил, что она за день навела бы понтонный мост через Обь, а с таким составом его не построить и за месяц.

22 июня все части были выведены из лагерей и построены на плацу для смотра. Дивизия наша состояла из трех полков. Кроме того, к ней были приданы два артиллерийских полка, а также батальон связи, санбат и школа младших командиров, в основном из комсомольцев. Смотреть пришли горожане, родные и близкие. День выдался солнечный, у всех приподнятое настроение. Тут же разбили торговые палатки. После торжеств намечалось провести массовое гуляние, но заиграл горнист и все стали собираться в летнем открытом клубе.

Когда я пришел туда вместе со своими товарищами, в клубе негде было упасть яблоку. Солдаты переглядывались, пытались узнать причину доспешного митинга.

Ответ долго ждать не пришлось: на сцену вышел командир дивизии полковник Мионов и объявил: «Война!». Я посмотрел на небо и, несмотря на ясный день, мне показалось оно темным, как будто нависла большая туча. И это было действительно так. Над Родиной нависла смертельная опасность. И хотя выступавшие заверяли о скорой победе, мне муторно укладывалось в моей голове. Немцы — не белофинны, под их пятой почти вся Западная Европа.

Легких побед на войне не бывает. И не известно, удастся ли кому из нас дожить до ее конца. Так думалось не только мне. Но все мы были едины в своем порыве. В президиум тут же посыпались заявления с просьбой направить незамедлительно в действующую армию. Хотя просить об этом уже не надо было. Немного погодя был зачитан приказ командующего Западнo-Сибирским военным округом. Нас спешно направляли на фронт.

Не успели разойтись, как лагерь был атакован со всех сторон жителями города: сбежались родители, жены и дети, близкие и друзья, в толпе стоял плач, рыдания, отовсюду сыпались проклятия в адрес Гитлера. Прибежала и моя жена Таня с ребятами, засыпала меня вопросами. Что я ей мог ответить? На войне всякое бывает. В одном только был уверен — в нашей победе. Не верилось, что мы, русские люди, можем спастись перед врагом. Многие пытались нас поработить, да не вышло. Выживим и тут.

До отправки на фронт у нас оставалось четыре дня. Провели мы их в больших заботах. Подогнали обмундирование, смонтировали радиостанцию на тачанке, а так как лошадьми из нашего экипажа никто раньше не управлял, место кучера пришлось взять мне. И мы отправились на железнодорожную станцию для погрузки в эшелон.

По пути я успел забежать домой, чтобы проститься с родными. Семья уже была в сборе: отец, мать, младший брат, жена с детишками — Федей, Шурой и Эдиком. Младший, Эдик, стянул с меня пилотку, промаршировал по комнате и дал наказ — прислать побольше значков, как будто я уезжал в командировку. Жена шлепнула его незло: «Ох, глупышка ты моя!» — и залилась слезами.

На станции былолюдно, но погрузка прошла быстро, организованно. Раздался гудок паровоза, и колеса мерно застучали на стыках рельсов. И никто из нас не мог даже предположить, как надолго разлучаемся с семьями и любимым городом.

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ

Остановок на станциях почти не было: поезд мчался с курьерской скоростью и через несколько суток был под Вязьмой. Здесь на небольшой станции состав разгрузился прямо на перроне, и мы услышали, что дальше ехать нельзя. Вскоре увидели отступающих солдат с Запада, от них и узнали о неудачах на границе. Молчаливо двигались своим ходом вдоль Минского шоссе в сторону Дорогобужа. Здесь, на Днепре, концентрировались сибирские

войска. По шоссе нас обгоняли танки и артиллерия, и это вносило оживление, бойцы повеселели, слышался голоса: «С такой техникой да не воевать!»

С ходу наша дивизия стала возводить оборонительные укрепления. Подступы к ним были заминированы. На помощь пришло мирное население. Жители Дорогобужа и окрестных поселков рыли противотанковый ров, подсобляли нам в сооружении блиндажей, куда предполагалось поставить тачанку вместе с упряжкой.

Лес рубили в сосновом парке, где до войны размещался такой же, как у нас в Барнауле, воршиловский стрелковый клуб. Я невольно вспомнил дом, семью, прощание с родными, задумался и вдруг услышал совсем рядом топот солдатских ботинок. Мимо, прихрамывая, брели несколько бойцов в рваной одежде со следами гари на лицах. У одного из них я заметил в руках новенькую десятизарядную винтовку, о которой давно помышлял. И такая злость меня взяла на ее владельца, как будто он один был виноват в отступлении. Я подскочил, вырвал из его рук «скорострелку», а ему сунул свою трехлинейную винтовку. Солдат было заупрямился, но я бросил егодно:

— Бежать и с этой можно.

Положение на нашем участке с каждым днем усложнялось. Надо было ожидать скорого появления вражеской разведки. И вот однажды утром мы увидели самолеты с черными крестами на фюзеляжах.

— Воздух! — закричал кто-то, но тут же раздался другой голос: — Отставить! Не видите, что ли, это санитарные самолеты. Раненых вывозят из-под Смоленска.

Но «санитары» вдруг развернулись и пошли в пике, сбрасывая бомбы на мост, и тот рухнул в нескольких местах. Таким образом, продовольственные склады, находившиеся за Днепром в монастыре, были отрезаны. Зато теперь без плакатов каждый научился распознавать немецкие самолеты.

От массированного налета вражеской авиации Дорогобуж, где в основном были деревянные строения, пылал гигантским костром. Оттуда стали выходить гражданские лица. В память врезалась одна женщина. Она вела за руку ребенка лет шести, другого держала на руках, за спиной — узел с поклажей. Сама она была одета в теплое зимнее пальто, а на ногах летние туфли, видимо, что успела, то и взяла. На лице беженки растерянность и страх. Видя все это, хотелось мстить нещадно фрицам.

А самолеты продолжали кружить, как вороны. Однажды они проходили так близко, что я не удержался, схватил «скорострелку», выскочил из блиндажа, прицелился. Нажал на крючок и услышал щелчок. Осечка! Второй патрон заело. Устранив неисправность, я попытался было снова взять на прицел немецкий стервятник, но и на этот раз мой самолет отказал. «Вот так и в нашей военной машине, — подумалось мне, — где-то что-то заело». И я тут же обменял карабин на безотказную «трехлинейку».

Тем временем немцы обошли оборонительные рубежи и захватили Ельню. Мы спешно снялись и пошли на выручку войскам, сдерживавшим натиск противника. С марша попали под сильный артиллерийский огонь. Было это в поселке Зыряново. Местность открытая. Промедлили немного, и фрицы накрыли бы нашу тачанку перекрестным огнем. Но тут я увидел крутой яр и, не раздумывая, направил туда коней. Вовремя укрылись. Снаряды стали перелетать через бугор и рвались в безопасном для нас месте. С трудом удерживая разгоряченных коней, я смотрел на всплески земли и благодарил судьбу, что остался жив. Что может быть нелепее в жизни — умереть в самом начале войны, даже не сделав ни одного выстрела по врагу, не побывав в бою. И все же для меня это было боевым крещением.

ПЕРВОЕ НАСТУПЛЕНИЕ

Конечно, и наша артиллерия не молчала. Там же, под Ельней, при ее поддержке пехота перешла в контрнаступление и выбила немцев из прилегающего к льнозаводу леса. Однако лес этот кишел немецкими автоматчиками, замаскировавшимися на деревьях. Их называли «кукушками».

Чтобы очистить от них зону, командование выделило специальных охотников, которые блестяще справились с задачей. Однако не успели мы освоиться со своей тачанкой в укрытии, как пришло новое распоряжение — перебросить радиостанцию на командный пункт полка.

Не зная точного расположения, начальник связи Засуев повел нас в деревню, что находилась в километре от леса. Он ехал верхом на коне, а мы следом за ним. И вдруг из деревни по нам открыли пулеметный огонь.

— Немцы!

Засуев повернул коня обратно, а я, имея определенный опыт, стегнул лошадей. Проскочив галопом открытую местность, мы укрылись в овраге в конце деревни. Немцы, видимо, подумали, что тачанка является каким-то особым видом оружия, открыли сильный огонь из минометов, но укрытие было надежное. А тут и пехота подоспела: фрицы были выбиты из деревни.

Так постепенно, шаг за шагом сибирские части стали теснить захватчиков на этом участке. В воздух был поднят стратостат для наблюдения и корректировки огня, но особого успеха он не имел, да и его сбили быстро.

А на земле шел жаркий бой. Вот уже наши полки подступили к деревне Садки, от которой ничего не осталось, как и от леса, в котором мы недавно были — все было сожжено взрывами снарядов. Погода стояла жаркая. Июль месяц. Убитых не хоронили, и воздух был наполнен смрадом от дыма и разлагающихся трупов.

В районе Садков немцы усилили оборону, танки закопали в землю, превратив их в неприступные доты. Вся надежда была на артиллерию. Меткости им не занимать. Накануне сам видел, как зенитный снаряд угодил в стаю немецких «стервят-

ников», сбил один, а остальные рассеялись, сбрасывая куда попало бомбы. Так вот, и на этот раз «бог войны» не подвел, а точнее, удивил нас. Внезапно с наших позиций с каким-то скрипящим звуком взметнулся огненный смерч, а когда стихли взрывы на неприятельской стороне, на какое-то время наступила тишина. Видимо, немцы никак не могли опамитоваться.

То дали залп знаменитые «катюши». О них ходили разные толки, но точно не знали, что это за оружие. А оно не только наводило страх и ужас на фрицев, но и наших солдат от этих залпов бросало в дрожь.

Вскоре я поехал в батальон связи подзарядить аккумуляторы для радиостанции. Смотрю, стоят под брезентами четыре машины. Подошел к команде. Хлопцы не больно разговорчивые. «Катюши?» — спрашиваю. Кивают в ответ, мол, они самые. «Ну и дали вы прикурить фрицам!» — я не удержался и подошел поближе. Как говорят русские, глазам не верится, дай руками посмотреть. Стал я похлопывать по брезенту, а команда покатывается со смеху: «Что ты ее щупаешь, как красную девку?!» Но все же смилостивились, кое-что рассказали. Грозное оружие! «Есть силушка у нашей матери-Родины», — мелькнуло в сознании.

Днем и ночью не стихала артиллерийская и пулеметная стрельба, рвались бомбы и снаряды, дрожала земля, в ушах — сплошной звон. Было много раненых. В отдельные дни через санбат проходило до пятисот человек. И тут же на место вышедших из строя подтягивалось пополнение. Некоторые части были сформированы заново из отступающих солдат. Кое-кто из них уходил на ночь из окопов. Одну такую группу беглецов, человек сто пятьдесят, мы заметили близ Садков и доложили командиру полка Райцеву.

— Кто из вас старший? — спросил он, знаков различия тогда еще не было.

— Я! — вперед выступил сержант Шербак, мой земляк. Мы подружился с ним в летних лагерях и спали в одной палатке.

— Назначая вас командиром, — сказал Райцев. — Сформируйте из этих солдат роту и доложите.

Из Шербака получился неплохой ротный. Одиннадцать раз водил он в атаку бойцов. Когда освободили Ельню, я пошел узнать: жив ли мой земляк, и услышал в ответ, дескать, ранен и отправлен в тыл. А через день узнаю: умер Шербак. Раны его оказались смертельными. Я тут же сел писать письмо его жене. Долго вымучивал слова. А потом написал, как его повысили в должности, как храбро воевал он и умер геройской смертью. Писал и думал: не дай бог получить мной такое известие.

НА НОВЫЙ ПЛАЦДАРМ

За бои под Ельней, а они длились 60 дней, 107-й стрелковой дивизии было присвоено звание «гвардейской». Вскоре ее переименовали в 5-ю гвардейскую, а наш барнаульский полк из 630-го в семнадцатый. Подразделения были сильно потрепа-

ны, остался, как говорится, костяк, и в середине сентября мы снялись с передовых рубежей и отправились на доукомплектование.

В дороге произошла история, чуть было не окончившаяся для меня трагически. В роте связан было с десяток лошадей, а кормить их нечем. И вот, когда грузились в эшелон, я заметил на станции большой штабель — то были мешки с овсом. Шукнул ребят. Вчетвером мы погрузили несколько мешков в вагон. Лошади аппетитно стали поедать овес, а мы, довольные находчивостью, укладывались поудобнее, чтобы отоспаться после боев. И вдруг появляется представитель особого отдела в сопровождении политрука и старшины.

— Кому это тут захотелось овсяной каши?

Мы вылезли из вагона, стали по стойке «смирно».

— Расстрелять перед строем мародеров! — бросил особист политруку роты.

У меня помутилось в глазах, в голову полезли всякие мысли: если сообщат домой и дети узнают, что их отец не защитник Родины, а мародер, что равнозначно врагу народа, как они потом будут смотреть людям в глаза? Но какой же я враг, коли себе и горсти не взял? Тут я увидел, как старшина спрятался за спину политрука, и сразу понял, откуда ветер дует.

Со старшиной у нас произошел серьезный конфликт. В самый разгар боев он сушил портянки, то бишь отсиживался где-то в тылу. И роте связистов пришлось довольствоваться с чужой кухни. Иными словами, ели, что бог пошлет. А когда спустя несколько дней старшина заявился как ни в чем не бывало, я не выдержал и сказал ему:

— Где же это ты, голубчик, пропадешь? Или забыл свои прямые обязанности?

— Не твоего ума дело! — вскинул старшина и, приняв начальствующий вид, выхватил из кобуры пистолет. Я тоже принял оборону — на «трехлинейке» был штык. Развел нас тогда лейтенант Синолиц, который, как секундант, стоял сзади. Старшина после этого стал более изворотлив, организовал кухню, чтобы заглядеть свою вину перед бойцами, выделил полбочонка «Зубровки» — видимо, скопились положенные на каждый день фронтные сто граммов. Кое-кто нализался до чертиков, но большинство удержалось от соблазна, а часть спиртного я припрятал в тачанке — наш экипаж не был падок на зелье.

Как бы там ни было, старшине мой выпад не понравился, и он ждал удобного момента, чтобы отомстить. И вот, кажется, подкараулил. На наше счастье паровоз дал гудок и тронулся. Раздалась команда: «По вагонам!» Я замешкался, но политрук подтолкнул меня: «Залезай быстрее. Потом разберемся!» А потом об этом никто не вспомнил. Так и остался вопрос о наказании открытым.

И СНОВА ЕЛЬНЯ

Пополнив ряды, дивизия была переброшена на Харьковское направление. Ехали через Москву и Тулу, но добрались

только до станции Узловой. Тут наш эшелон прицепили за хвост и направили в Калугу. Оказывается, немцы прорвали ельнинский плацдарм. Здесь, на реке Угре, в районе санатория имени Фрунзе, мы и заняли оборону.

В сутолоке дней не успели привести себя в порядок, и утром сержант Ляпунов построил роту связи и начал снимать с нас стружку:

— Ну что вы за гвардейцы? Хоть бы побрились...

Правильно в общем-то укорял, но надо и обстановку понимать. Фрицы под носом. Местами они переправились через реку, попрятались по бурьянам — приходилось быть начеку, особенно ночью. Да и сейчас опасность рядом. Ляпунов читает нотацию, а я вижу, как группа немцев пробирается в наш лес. Не выдержал команды «смирно» и крикнул:

— Товарищ комроты, немцы-то, вон они!

— Разговорчики в строю! Нечего тут панику распускать.

А к вечеру фашисты действительно начали нас «стричь да брить». Они применили в тот день весь свой арсенал вплоть до дробовиков, которые были рассчитаны на слабонервных, в основном на молодых бойцов — старички к этому уже были привычны. Главная загвоздка в боеприпасах. Они вообще-то были на станции Костино, но их почему-то вовремя не подвезли. И мы не сумели удержать немцев на реке Угре. К вечеру началось самое страшное, что может быть на войне — это отступление.

...Не знаю, кто первым сказал слово «окружение», но оно подействовало удручающе. Связь с дивизией была потеряна. Штабная радиостанция находилась на машине, пошли сильные дожди, и ее пришлось бросить в лесу. А наша тачаночка везде проходила. Возле нее всегда были люди. Солдаты то и дело спрашивали, что нового в эфире, не подали ли голос соседние части.

В общем, с радиостанцией нам было веселее. Покружив недели две по подмосковным лесам, мы ускользнули от преследования гитлеровцев близ Серпухова, где и поставили точку на отступлении.

В Серпухове активно действовала партийная организация. Она бросила все силы на оснащение нашей дивизии всем необходимым. Приближалась зима. Мы получили теплое обмундирование. Нуждалась в утеплении и наша радиостанция. Обратились за помощью в ближайшую мастерскую, и рабочие быстро соорудили будку, обшили ее фанерой. Когда мы приехали в часть, посмотреть на новую тачанку сбежались даже из соседних подразделений. Еще бы: фанера была рекламная, на будке красовались кисели, каша, соусы, томаты. И не подумаешь, что здесь размещается радиостанция. В лучшем случае — хлебовозка.

— Ну и конспираторы! — покачал головой командир полка Перхорович. Больше всего его, конечно, привлекала печка-носогрейка, установленная в будке. Бросишь в нее несколько чурок, заиграет внутри пламя — тепло, как в Африке. И опять

возле нашей тачанки сталолюдно. Заскочит кто мимоходом, погрееет руки и на душе веселее.

НАШ СУВОРОВ

Командир полка зачастил к нам на «огонек». Придет, свернет «козью ножку» и пока не выкурит — не уйдет. Интерес его был понятен. В молодости он громил белогвардейцев на тачанке, был неплохим пулеметчиком. Может, потому и боготворил наш экипаж. Однажды Перхорович пришел со свертком и сказал, обращаясь ко мне: «Пляши!» Не долго думая, я пустился вприсядку. А ротный тем временем развернул свертки, и все, кто был возле радиостанции, ахнули, увидев у него в руках телефонный кабель.

— Американский! — сразу определил я.

— Так точно, — улыбнулся Перхорович. — Смотрите у меня. Беречь как зеницу ока. За него золотом плачено.

Перхорович ценил связистов, считая, что без них на войне, как без «языка». Был он прост в общении и доступен. Солдаты души в нем не чаяли и называли «наш Суворов». Одет Перхорович был всегда в желтый дубленый полушубок, ездил на обычных санях. По долгу службы я не раз бывал в его блиндаже. Как-то не удержался и спросил, почему он ездит на дровнях, а другие командиры в кошечках.

— Э-э, думаешь ты один конспиратор, — засмеялся комполка. — Ну сам посудите: вот летит самолет, если я поеду в карете, — это он имел в виду кошечку, — немец увидит и сразу поймет, что едет кто-нибудь из начальства, возьмет да и полоснет очередью. А так он и внимания не обратит.

Я понимал, что полковник шутит, но шутка эта была мне по душе. В другой раз я принес срочную радиограмму, по привычке спросил разрешения войти, на что он ответил:

— Когда срочное дело, и на войне не требуют разрешения, а докладывай с чем пришел. Это заповеди Суворова. Впредь действуй, как требует того обстановка.

А обстановка была сложной. Тыловики постоянно запаздывали не только с доставкой боеприпасов, но и продовольствия. На поиски провианта уходила уйма времени. Потом настал момент, когда в ход пошло конское мясо. Мне, как шеф-повару нашей тачанки, удалось раздобыть печеньку. Разжег я костерок в лесу и стал варить ее. И вдруг слышу: «Суворов идет!» Увидев комполка, я вытянулся по струнке, а он похлопал меня по плечу, подсел к костру, стал отогревать руки.

— Что варишь, солдатик?

— Может, отведаете, товарищ полковник?

— Это можно, — и он взял из моих рук ложку. Обжигаясь, полковник ел конскую печеньку, а у меня в ушах стояло непривычное тогда еще слово «солдатик». Так мог сказать только русский человек, беспредельно любящий свой народ.

С той же простотой и доходчивостью Перхорович учил нас тактике боя. И не только учил. В разгар контрнаступления

рота пошла в атаку, но противник, засевший в деревне, открыл минометный огонь, и солдаты начали пятиться назад. И тут впереди появился Перхорович.

— За мной, орлы!

Увидев командира, бесстрашно стоявшего под огнем, солдаты устремились вперед, мины стали перелетать, и бойцы оказались вне обстрела. Дерзким броском деревня была взята с минимальными потерями.

А вскоре после этого нашего Суворова откомандировали в тыл. Ему поручалось сформировать новую дивизию. Воинское мастерство его не осталось незамеченным.

ЕНАВИСТЬ

В декабре по всему фронту была проведена немецкая оборона. Началось изгнание фрицев с зимних квартир. Ночью наш полк двинулся по полям, чтобы незаметно зайти в тыл противнику. Впереди поехал конный взвод разведчиков, следом наша будка, а за нами все остальные. Ночь была темная и холодная. Разведчики не выдержали верховой езды, стали спешиваться. И так вышло, что мы оказались впереди. Ехали, по очереди управляя лошадьми. Выпосливее всех оказался северянин Григорий Медведев. К утру добрались до полусожженной деревни. И первое, что увидели, — это трупы повешенных на деревьях.

— Вот варвары! — сказал Медведев. — Надо бы похоронить.

Мы сняли трупы, закопали их тут же за околицей, а чуть отъехав, наткнулись на немецкое кладбище. От нечего делать я стал считать белые березовые кресты с падежами на них касками, досчитал до 300 и бросил. И так было видно, что наши снаряды и пули не пролетали мимо целей.

Горько было смотреть на освобожденные селения. Немцы дотла сжигали строения, оставляя для этого специальных факельщиков. Надо было видеть ненависть жителей к оккупантам. В одной деревне факельщики убежать не успели, двое фрицев попали в руки женщин. Недалеко горел сарай, и они толкнули их в огонь. Крыша рухнула, погребая фашистов, а одна из женщин вдруг упала на землю, зарыдала: «Ой, бабоньки, бросьте и меня!» Оказалось, что гитлеровцы убили всю ее семью — мать, отца и детей, а муж в Красной Армии, может, уже и в живых нет. Отчаяние ее можно было понять.

Еще трагичнее картину мы увидели в селе Бельдягино. В его домах были зажжены сожжены все жители, в том числе и дети. Деревня эта некоторое время находилась в нейтральной зоне. Ночью я и мой напарник Чесноков поползли туда в надежде раздобыть у жителей немного продуктов, а попали на пепелище.

— Это ли не чингис-хань! — сказал я.

— Конец их известен! — отозвался Чесноков.

И еще запомнилась мне встреча. Взяли мы штурмом село, но немцы подняли свежие силы и пошли в контратаку. Уже завязался бой, а один танк все маневрировал в селе, потом вдруг закурился на ме-

сте, как подбитый. Подхожу, а впереди него стоит женщина, руки нарастопырку, кричит: «Не пушу! На кого вы нас покидаете?» Она поняла так, что мы снова отступаем.

— Да убери ты ее! — высунувшись в люк, закричал водитель танка.

Я оттащил женщину, стал ее успокаивать, но она твердила одно:

— Товарищи, дороге, не оставляйте нас супостатам!

Что я ей мог сказать на это. Рады бы погнать гитлеровцев до самого Берлина, да, видно, пока мощей не хватает. В обычной драке и то побеждает тот, у кого поувесистее кулак, а тут и подавно: силу может только пересилить сила. Чтобы накопить ее, требовалось время, выдержка. А ненависти и впрямь столько уже накопилось, казалось ее на десятигтерых хватит. Во всяком случае, после той деревни были освобождены еще два населенных пункта — город Кондрово и станция Костино.

«ЯЗЫК»

Бои шли с переменным успехом. Ряды наши опять поредели. И потому с большой радостью встретили в роте пополнение. Ребятишки с двадцать четвертого года, не нюхали пороха и одеты не по погоде — в ботинках. Смотрю на них, клацающих зубами от холода, и сердце разрывается от жалости к ним: так недолго и замерзнуть. Подхожу к двоим, втянувшим головы в плечи:

— Ну как, земляки, померяемся силой?

— Кишка тонка! — сказал один из них.

— А вот и поглядим, на что вы способны, — и я толкнул того, что подал голос.

Подопечные мои сначала недоуменно посмотрели на меня, мол, нашел время шутить, но потом стали сопротивляться помаленьку, завязалась борьба. Не заметили, как вокруг нас собралась толпа. Задвигались и остальные хлопцы. Потолкались, разогреблись и стало веселее. И вдруг кто-то произнес:

— Гляньте, хриц!

Все замерли. Мимо нас двое солдат в маскхалатах везли пленного. Немец был одет тепло: на голове, сверх пилотки, на нем повязана суконная шаль с кистями, на сапогах большие соломенные лапти.

— Где это вы раздобыли такое пугало? — спрашиваю я у конвойных и вдруг узнаю в них старых знакомых — разведчиков. Несколькими днями раньше мы побратски поделили с ними трофеи: им отдали автоматы, а себе оставили одеяла да бинокли.

— На сочельнике, где ж еще. Скоро рождественские праздники. Вот и рядятся.

Дружный хохот потряс морозный воздух. Русская зима прихлалась не по душе немецким солдатам. На какие ухищрения они только не шли. В уцелевших деревнях я не раз обращал внимание на вырубленные в домах углы. Заглянул в один из таких домов, а это своеобразный дот. Сидит немец на печи, знай себе греет бока

и постреливает для острастки. Ну, думаю, вояки, так вас надолго не хватит. Вид же немца еще больше вселил эту уверенность.

В тот же день мне надо было поехать в Кондрово — подзарядить аккумуляторы. Только тронул повозку, как подбегает Чесноков и говорит:

— Тебе приказано заехать на КП.

У входа в блиндаж я увидел командира роты, а рядом с ним стоял тот самый немец. Все атрибуты с него сняли, и он уже поскуливал на морозе.

— Прихватишь этого субъекта и сдашь в штаб дивизии, — сказал ротный. — Да смотри у меня, не заморозь. Головой отвечаешь за «языка».

— Есть доставить в целости и сохранности!

Я усадил пленного в сани, сверху накрыл брезентовой палаткой. Ну, думаю, я тебе, собака, покажу капризы нашей матушки-зимы. И нарочно поехал неторопливо, сам пешком пошел за санями. Мороз под сорок. Снег скрипит под валенками. Иду, а сам поглядываю на пассажира, искренне сожалел, что ни бельмеса не понимаю по-ихнему, а то бы я задал ему один вопросик. О чем бы я его спросил? Да все о том же, за каким чертом понесло его в Россию, неужто мало им своей земли? И неужели его не мучит совесть за те беды и злодеяния, что они причинили нашему народу?

Тут немец заворочался, и я насторожился. Он не чета мне — ишь какой верзила. А вдруг деранет? И я торопливо снял винтовку с плеча. Но фрицу было не до побега. Повернувшись на другой бок, он, побряхтывая, застучал каблук о каблук, а вскоре совсем затих. Я не на шутку испугался. Чего доброго отбросит копыки, придется ответ держать. Откинул полог и крикнул:

— А ну вставай! — и показываю винтовкой, мол, выходи.

— Найн, найн! — испуганно замахал он руками, думая, видимо, что я решил его прикокнуть.

Я снова закинул винтовку за плечо, затопал ногами, замахал руками, кивая вперед, дескать, вылезай, промнись маленько по свежему воздуху. Пленный, наконец, смикитил, вывалился из саней, вид жалкий: пилотка натянута на уши, глаза выпучены. Пошел, хромая. Но хватило его ненадолго. Скорчившись от боли в ноге, он повалился в сани. И вскоре его опять не стало слышно.

«Не было печали!» — подумалось мне. Между тем пассажир совсем не подавал признаков жизни. А до штаба было еще километров пять, как раз половина пути. Я захлопал его по щекам, стараясь привести в чувство, и все безуспешно: пассажир только мычал, но и это уже было хорошо — жив и ладно. Тут я вспомнил про фляжку, в ней кое-что оставалось от фронтowego пайка. Я отцепил ее, отвинтил крышку и поднес горлышко к фрицевой морде. Тот сразу очнулся, схватил фляжку скрюченными пальцами, и не успел я опомниться, как фляжка была пуста. «Ах, хитрюга, — сказал я про себя, — замертво лежал, а спирт почуял и ожил».

НЗ небольшой, но он быстро подействовал на немца, тот замурыляк что-то под нос. Ну и пусть, думаю, мурлычет. Отогрел немец душу, но все равно по прибытии его пришлось выволакивать из саней — до костей продрог. Помогавший мне боец еще спросил:

— Никак, важная птица?

— Там разберутся! — кивнул я на штаб с таким видом, будто сам добыл «языка». И побыстрее покатил прочь, опасаясь, как бы мне не попало за то, что подпоил немца.

История эта, конечно, вскрылась, и ребята еще долго подшучивали надо мной. Получим спирт на экипаж, а Чесноков обязательно обойдет меня при разливе, а стану протестовать, он и говорит:

— Не положено. Ты свое хрицу спойл.

О ЖИТЬЕ-БЫТЬЕ

В конце февраля 1942 года шли сильные бои на подступах к Юхнову. Отступая по Варшавскому шоссе, немцы взорвали все мосты, и продвижение наших войск застопорилось. Остановившись в лесу, в стороне от шоссе, мы решили соорудить блиндаж. Рубить лес как маскировочный материал было невыгодно. Проезжая по шоссе, я видел в кювете немецкий блиндаж из снега, перекрытый заплотником, и решил за ним съездить. Доехал туда, начал было класть заплотник на сани, и в это время немцы открыли сильный артиллерийский огонь. По шоссе ехала кухня с поваром и ездovým. Оба сиганули с повозки и упали в кювет неподалеку от меня. И вдруг один, что постарше, стал крикаться и выкрикивать: «Господи, спаси и сохрани!»

— Молись! — прицкнул он на своего попутчика, и тот тоже стал осенять себя крестом.

Кругом рвутся снаряды, стоит грохот, а меня распирает смех. И я решил подшутить над верующими.

— Спасу и сохраню! — говорю елейным голосом.

Соседи по несчастью, наверное, не видели меня, старший и говорит, мол, слышишь, это сам господь нам говорит. Тут кончился артилет, они вскочили и побежали к повозке, а я подумал: какие еще есть набожные люди. Приедут и будут рассказывать, как слышали самого всевышнего. И уж пожалел, что не объявился и не разочаровал их.

В общем, на войне всякое случается — трагическое и смешное тут рядом. И к этому тоже привыкаешь: смерть человеческую воспринимаешь, как должное, а саму войну, как будничную работу.

Четвертого марта взяли Юхнов, и первый поклон — жертвам фашизма. Отступая, титлеровцы взорвали госпиталь, в котором лежало 500 раненых красноармейцев. Это ли не прощай! Поскрипели от ненависти зубами, а назавтра снова в бой. С ходу навела переправу через Угру, перебросили на тот берег танки и артиллерию, и немцы дрогнули, уступая еще один плацдарм.

После боя заглянули к артиллеристам, а там стоит хохот. В кругу — виновник

торжества, молоденький сержант. Прищурив глаз, рассказывает, как он шархнул фрицевский танк. Его слушали с усмешкой. Но что удивительно, это было на самом деле. В критический момент, когда немцы попытались отбросить нашу часть танками, сержант выкатил «сорокапятку» и прямой наводкой подбил три немецких танка...

А это было в районе станции Износки, куда нашу дивизию бросили неспроста. На этом участке надо было выручить попавшую в окружение армию. Испытав на себе, что это такое, гвардейцы сражались героически. И хотя полностью выручить попавшие в беду полки не удалось, вскоре на нас стали выходить отдельные группы. Рассказы их были невеселыми. Да и на нашем участке усложнилась обстановка. Дороги развезло. Команда солдат ходила за 12 километров пешком за снарядами, ящики таскали на себе. В таких условиях о больших успехах мечтать не приходилось.

Закопавшись в землю, дивизия целый месяц простояла в ожидании подкрепления. Продуктов почти не было. Оставшихся коней кормили березовыми ветками. На день давали по сухарю на брата и немного болтушки из муки. Чтобы быть бодрыми, не брезговали ничем, даже воронами: мясо горькое, но ничего — есть можно.

Когда солдаты сытые, народ всегда веселый, и разговоры идут масляные, а когда в брюхе пусто — все думы о еде. Так было и здесь. Надо было изыскивать резервы. И это поручалось мне как опытному кашевару. Да и в долгу я был перед товарищами. Кто-то из артиллеристов накануне стибрил у меня прямо из-под носа котелок со студнем, для которого с большим трудом были раздобыты кости. И я решил взять реванш за эту дерзость.

Артиллеристы, надо сказать, жили посытнее, чем мы. У них были лошади, а их часто убивали. Так вот, пошел я в их расположение, как бы за тем, чтобы пособить дров, а сам уже учуял запах варена. Неподалеку солдат хлопотал у костра, зачерпнул ложкой из ведра, попробовал на вкус и нырнул в землянку, видимо, за солью. А мне только того и надо: схватил ведро и был таков.

В целом связисты и артиллеристы жили дружно. И если случались такие проделки, то в них было больше озорства и ухарства, чем воровства. А я вскоре стал незаменимым человеком по части раздобыть чего-нибудь съестного.

В начале апреля к нам прибыла из Барнаула делегация. На кухне запахло пельменями. Их варили в общем котле, это был настоящий праздник. Особенно тогда, когда закурили бийской махорочки.

— Хорош ярун! — слышалось отовсюду.

Повеяло родным домом, Сибирью. После обеда артиллеристы повели гостей на огневые позиции и показали им искусство стрельбы. Дали залп, немцы тут же ответили. Гости необстрелянные, попадали в окопы, вымазав свои кожаные. Смотреть было забавно, но и печально. Человеческая жизнь одна, жить бы да жить, но

над нами властно не только время, но и оружие. «Так нет же, — говорил я себе. — Человек все-таки сильнее оружия».

Второй приезд земляков внес определенные коррективы в наш солдатский быт.

Прежде всего нашему полку было вручено знамя города Барнаула, такие же знамена получили и другие наши полки, а дивизия — знамя крайкома и крайисполкома. Гости обратили внимание на то, что у нас мало награжденных. Действительно, наградами дивизию не баловали. Части постоянно обновлялись, вроде бы и награждать некого. И вот упущение это было исправлено. В числе награжденных оказался наш боевой командир Ванштейн и телефонист Плотников, а остальным выданы гвардейские значки. Солдаты из других дивизий завидовали, принимая их за ордена Красного Знамени — так они были похожи.

ПРОЩАЙ, ТАЧАНКА!

Летом 42-го после непродолжительно-го отдыха наша дивизия вновь оказалась на линии фронта, между Вязьмой и Юхновом. Тут уже накапливали силы и другие части. Подход сибиряков был встречен восторженно, мол, с гвардейцами воевать будет легче. И впрямь: четвертого августа при поддержке артиллерии алтайские полки прорвали оборону противника и двинулись в глубь вражеского эшелона.

К тому времени мы вновь пересели на тачанку. Правил ею Абдурахманов, шутник и балагур. С ним ехал начальник радиостанции Семченков и держал на ходу связь со штабом дивизии. И вдруг под колесами полыхнуло, раздался взрыв и тачанка развалилась пополам. Наскочили на мину. Ездовой остался жив, а Семченков был тяжело ранен, и мне пришлось его срочно везти в тыл. Однако до санчасти доехать не удалось. По дороге он умер. Тут же, у горки возле речки, я похоронил его. Так на боевом посту оборвалась жизнь нашего доброго товарища. А друзей всегда терять больно.

Радиостанцию отправили в ремонт, получив взамен старенькую РБ. Числа двенадцатого я поехал в тыл, чтобы подыскать новую тачанку. Перепочевал в лесочке, а утром попал под бомбежку. Соскочив с повозки, я побежал из леса по ложбинке в поле, но было уже поздно. В траншее неподалеку от КП стояли верховые лошади. «А что если спрыгнуть туда?» — мелькнула мысль, но я тут же отбросил ее: лошади шарахнутся и могут поранить копытами, а то и затоптать. Я упал под елку, и в ту же минуту начали вращаться бомбы. «Ну, брат, пропал!» — подумал я, почувствовав, как ожгло грудь и ногу, да и по спине ударило чем-то. С трудом поднялся и не поверил своим глазам: там, где были лошади, зияла огромная воронка, поодаль лежали выброшенные трупы коней. Подобрал палку, я заковылял, опираясь на нее, в санчасть.

Я не раз бывал в подобных переделках, но мне как-то везло. До сих пор не было ни одной царапинки. Я не знал, что такое санчасть и по болезни. До войны у

меня была постоянно ангина, а здесь ее как рукой сняло, хотя спали на снегу. Бывало, получим на команду четыре ложки сахара, зачерпнем круглый котелок снега, смешаем с сахаром, и северное мороженое готово. И лишь однажды слег, и то по недомыслию.

— Ребята, айда в баню! — предложил нам радист Гаврилов.

Баню он приметил в соседней деревне через лесок. Дело молодое, влезли в дровни и поехали. Не столько помылись, сколько вымазались. А тут еще у меня пропала шапка-ушанка. Пришлось шесть километров идти по морозу с непокрытой головой, после чего слег. Опасаясь, как бы меня не отправили в тыл, друзья подыскали удобное местечко, где я мог отлежаться, — у связистов штаба. У них стояла чугунная печка, я пробрался туда и трое суток, не раздеваясь, пролежал у печки, пропотел как следует, на этом и кончилась моя госпитализация.

Одним словом, и на этот раз я надеялся, что долго не задержусь в санчасти: сделают перевязку, и я вернусь к ребятам. Но дело приняло серьезный оборот. Ногу располосовали на четверть, извлекли осколок, а тот, что засел в груди, не стали трогать. Врач был барнаульский, сказал, мол, с ним воевать и жить можно. Между тем к вечеру боль в ноге усилилась. Таких, как я, раненных, набралось две машины, и нас спешно отправили на ближайшую станцию, погрузили в вагоны — и через день мы уже были в Москве, в больнице имени Боткина. Мне даже не верилось, что произошло со мной, все думалось о ребятах: как они там теперь без меня?

В МИНОМЕТНОМ ПОЛКУ

После госпиталя я попал в минометный полк, командовал которым майор Супрун. Назначили меня радистом во взвод управления под начало лейтенанта Лайченко. Это был грамотный и требовательный командир. Мне и старшему сержанту Санарову было поручено учить пополнение. Не забывали мы и тренироваться в стрельбе. И тут Лайченко всем давал сто очков вперед.

— Долго целишься! — говорил он, когда я однажды «промазал» в мишень. — Заменялка — считай головы нет. Будь внимателен. Не доглядел, сунул небрежно патрон — жди осечки, а то и чего-нибудь поухе. Уроки эти, как и советы Перхоровича, были очень кстати.

Вскоре меня назначили начальником радиостанции второго дивизиона. А так как я был рядовым, командование решило присвоить мне воинское звание старшего сержанта. Но узнав, что я был в окружении, ограничились сержантским званием. Обидно было не за то, что понизили на одну «лычку», я считал упрек незаслуженным: мы ведь тогда в полном составе вышли со штабом в расположение наших частей.

— Не горюй! — успокоил меня Лайченко. — Нам победа нужна, а за званием дело не станет, — он помолчал и добавил: — Перед Родиной и народом нашим

сейчас все равны: и солдаты, и генералы. Мы все за нее в ответе.

Командный состав полка был подобран хороший. Во главе второго дивизиона был майор Ермаков. Он так умел выбрать огневую позицию, что не было случая, чтобы мы попадали под обстрел или бомбежку, всегда оставались неуязвимыми. Полк механизированный, подвижный, придан он был 5-му гвардейскому Зимовниковскому корпусу, находящемуся в составе танковой армии Ротмистрова. При высокой мобильности, естественно, большое внимание уделялось связи.

Прежде всего надо было приработать с соседними радиостанциями, научиться безошибочно различать голоса друг друга. Этому помогли учения в районе станции Солнцево на Воронежском фронте. К тому времени у немцев появились радисты из влассовцев, но мы их сразу «раскусили» и посылали ко всем чертям. За успешную выучку солдат в освоении радиотехники меня наградили медалью «За боевые заслуги». Это была первая моя награда. Не скромю, я гордился ею.

Однажды мне пришла в голову мысль: разработать свой код, причем такой, чтобы никакой «власовец» к нему не подкопался. Я показал систему цифр и букв начальству. Идею мою одобрили, кодовую таблицу все радисты изучили на память, и когда приносили на радию донесение, мы тут же передавали его в эфир. Новый шифр намного улучшил оперативность управления подразделениями, в целом связь между ними.

Четвертого июля 1943 года наш корпус по тревоге снялся с места и пошел в район Курской дуги. За одни сутки мы достигли намеченного рубежа близ Белгорода, где немцы прорвали оборону. Здесь, в районе Прохоровки, наша танковая колонна столкнулась лоб в лоб с немецкой. Отличились тут и минометчики полка. Когда появилась колонна вражеских танков, бронемашин и мотоциклов, командир соседней батареи Игумов, не дожидаясь распоряжений сверху, отдал приказ: бить прямой наводкой. И немцы потеряли много живой силы и техники.

Так под Прохоровкой началась вновь моя фронтовая жизнь. Нас перебрасывали с одного участка на другой по всему Степному фронту. В распоряжении связистов теперь уже была не тачанка (разве угнать ее за «стальными косяками»), а полторка. И ездили мы постоянно с разведчиками: союз с ними еще больше упрочился.

Переезд с участка на участок, как правило, осуществлялся ночью. Однажды под утро потеряли ориентир и попали не в ту деревню. Смотрим: стоят два наших танка — тоже вышли на разведку. А противник рядом, колонна танков с десантниками приближалась к деревне.

— Гони, Коля! — сказал я шоферу Долгих. Он из-под Челябинска, до войны работал на северных трассах, ас, каких еще поискать. Поддал мой Коля газу, а сзади танки прикрывают. Доехали до пригорка, а там наблюдательный пункт: собралось все командование и сам Конев тут. Мы остановили машины, доложили о

численности немецких войск. Конев что-то сказал присутствующим командирам частей. И не успели мы отъехать, как на деревню, занятую немцами, обрушился шквал огня.

Немцы были отброшены назад на всем участке прорыва. Началось противостояние войск. В те дни мы также не сидели на месте. Мне частенько приходилось пробираться с разведчиками на нейтральную зону. Как-то вырыли окопчик, замаскировались. Неподалеку от наблюдательного пункта стояло с десяток подбитых немецких танков.

— Заберусь-ка я в этот мастодонт! — сказал Гольдберг, один из разведчиков. — Оттуда вилнее.

— Ну давай! — сказал я ему, а сам пошел нарвать ржи на подстилку. Только ударил снопом о ботинок, чтобы околотить с соломы комья, как услышал вой мин. Оказывается, Гольдберг крутанул башню, немцы заметили и открыли огонь. Я упал в борозду, но на мое счастье мины перелетели через меня, и, хотя они разорвались совсем близко, меня только ударило воздушной волной, так как осколки летели тоже вперед. Остался жив и разведчик, его только оглушило в танке.

Ночь просидели настороже, на вторую я связался по радию с нашим танком-разведчиком, ползавшим где-то поблизости у немцев. Переговорили с радистом, и как в омут головой — заснул. Слышу только, что кто-то зовет меня: «Радист, а радист!» Вскочил — вокруг меня разведчики нашего корпуса. Спрашивают: «Ты что здесь делаешь? Один, что ли?» — «Как один? — говорю. — Со мной разведчики...». Глянул, а они спят, как голубочки, положив головы на бруствер. — «В рубашке, видно, родился», — сказал один из разведчиков. — Мы думали фриц сидит. Хотели уже бросить гранату, да решили спросить на всякий случай». Накрыл я своих спутников перекрестным. Но и их понять можно — третьи сутки не спали.

Взаимовыручка на войне — штука недооцениваемая. В большом и малом. В этом я убедился на собственном опыте. С теми же разведчиками на Курской дуге попал в такой переплет, что думал — каюк. Среди бела дня то было. Мы сидели на наблюдательном пункте. И вдруг видим: на нас движется колонна танков и бронетранспортеров с пехотой. Танки подошли уже шагов на сто пятьдесят. Один из разведчиков, Язов, вылез из окопчика, достал махорку и говорит:

— Ну что, братки, закурим перед смертью!

— Типун тебе на язык! — сказал я и сдернул его с бруствера. Выход у нас был один: вызвать огонь на себя. И только я проговорил в микрофон, как наша батарея дала залп из всех тридцати шести ста двадцатимиллиметровых минометов. Немецкая атака сразу захлебнулась. Погребены были не мы, а вражеская пехота. Мы не знали, как благодарить огневиков за выручку. Хотя почему же — вечером пропустили вместе по чарочке. За союз наш нерушимый.

ИЗГНАНИЕ

В конце июля мы оборудовали наблюдательный пункт около деревни Яковлевки, у крайнего кургана. Наступило затишье, часть наша находилась во втором эшелоне. Как-то неподалеку остановилось несколько «виллисвов». Из них вышла группа командного состава и направилась в нашу сторону. Впереди шел командующий Конев, рядом с ним Ротмистров и еще двое военачальников, которых ни я, ни мои товарищи не знали. Появление их здесь было не случайным: готовилось решающее наступление, и, видимо, товарищи подыскивали место для будущего прорыва. Догадка наша подтвердилась. С четвертого на пятое августа нас снова передвинули на передний край, куда уже было подтянуто большое количество артиллерии и другой техники.

Недалеко стояло сто пятьдесят «каштош». Увидев их впервые под Ельней, я с нетерпением ждал, когда они дадут залп. Ровно в шесть утра взвилась ракета, и небо озарилось яркими всполохами. Полет реактивных снарядов сопровождался скрипящими звуками, аж мурашки побежали по телу. Следом заговорила ствольная артиллерия. Потом над окопами прошли красноезвездные штурмовики. Не успели они отбомбиться, а разведчики уже сходили в ближайšie немецкие блиндажи и доложили, что там мало кто уцелел. Тут же вперед пошли танки, за ними двинулся и наш минометный полк.

Зрелище это было небывалое, праздничное. Начался перелом в битве, изгнание фрицев с родной земли. 9 августа был освобожден Белгород и мы двинулись к Харькову. Утром на нашу колонну налетела вражеская авиация. Соскочив с машины, я побежал от колонны по пашне. На поле была облахана куча остатков копны, на ней выросла густая зеленая трава, и я решил в нее спрятаться. «А вдруг немец подумает, что это блиндаж!» А самолет уже пошел в пике, и я побежал от травы. Всего-то шагов двадцать отбежал. И только упал, как сзади жахнуло и меня забросало землей. Немецкий пилот сделал второй заход и на то же место сбросил еще одну бомбу. Осколок угодил мне в плечо.

...Подлечившись в полевом госпитале, я попросил выписать меня и не пошел на пересыльный пункт, так как оттуда вряд ли попал бы в свою часть, а решил сам догнать ее. Мне повезло. Дня через два я увидел шофера Бабоназарова, остановил его и он с песнями доставил меня прямо па КИ.

— Гвардии сержант Торхов после лечения прибыл для дальнейшего прохождения службы! — доложил я начальнику штаба Трунину.

— Очень даже кстати, — сказал начальник штаба. — У нас Санатов выбыл по ранению. Займешь его место.

Предложение лестное, но мне не хотелось уходить от ребят, с которыми сдружился.

Когда я доложил об этом Ермакову, у того тоже появилось на лице кислое

выражение, но приказ есть приказ, и не выполнить он его не мог.

Вскоре освободили Харьков. Наш полк прошел его стороной. И тогда же началась его перестройка: были укрупнены дивизионы, пересмотрены штаты. Должность радиотехника упразднили, а мне вдруг предложили возглавить мастерскую. По рекомендации Лайченко. К тому времени он был уже капитаном. И когда я стал отнекиваться, мол, мало что смысло в ремонтном деле, он сказал:

— Премудрость невелика. Освоишься.

Принял я мастерскую, а в ней полнейший завал. И я еще не ахти какой специалист. Спасибо старшине соседней стрелковой дивизии. Заглянул он как-то ко мне, увидел, каким богатством мы располагаем и предложил свои услуги. Не без корысти, конечно. Им нужна была радиостанция. Я отдал ему трофейную, зато у них был радионженер, и он отремонтировал мне четыре станции. Пока их приводили в порядок, я внимательно следил, как надо находить неисправность. И это была для меня школа.

Начальник связи Лобанов одобрил мою предприимчивость и тут же предложил научиться исправлять и телефоны. Ну, а то, что нельзя было настроить в мастерской, отправили в Харьков, в армейскую радиомастерскую.

Не только мы, все части тогда привели боевую технику в готовность. Предстояло форсировать Днепр.

И вот уже Днепр позади. Освобождены Кривой Рог, Пятихатка, железнодорожный узел Знаменка. Отсюда наша армия пошла севернее. Первый Украинский фронт соединился с войсками, наступающими с Киева и Белой Церкви. Здесь, на Корсунь-Шевченковском направлении, мне было дано задание — оставить машину в тылу, а самому взять исправную радиостанцию, измерительные приборы и находиться на огневых позициях, где я снова встретился с Лайченко. Он был весел, подразделение его успешно отражало контратаки гитлеровцев.

— Ну, Семен Васильевич, погнали фашиста без остановки! — сказал Лайченко.

— От таких гостинцев разве не победишь? — кивнул я на ящики с минами. А на них выведено краской: «ВРЗ — АЛТАЙ».

Разговор состоялся утром, а в полдень противник пустил в ход всю свою технику. Гвардейцы выстояли, но один немецкий танк прорвался на позиции, и Лайченко угодил под гусеницы. А следом не стало и Ермакова, считавшегося дотеле неуязвимым. При бомбежке погиб. На марше. Мы похоронили их обоих в братской могиле.

СЧИТАЙТЕ МЕНЯ КОММУНИСТОМ

Наш полк формировался в разгар боев, а вторую его годовщину мы отмечали в Германии. Позади уже были Одер и Нейсе. Близился час победы. Все чаще вспоминался дом, родные — жена, ребяташки, мирная жизнь — соскучился я по ней. Но

война еще не окончена. Надо было обеспечить дивизионы надежной радиосвязью. И мы с шофером Лобковым (Долгих находился в госпитале) по целым дням качались в машине.

Как-то едем по лесу, и вдруг впереди замаячили четверо немцев. Я дал очередь из автомата, они побросали оружие и подняли руки. Посадил я их в кузов, привез в ближайшее селение, запер в сарай. Но нам надо было уезжать и тут возник спор: что делать с пленными.

— Чего с ними возжакаться, — сказал кто-то. — К стенке и весь разговор.

— Расстрелять — дело не хитрое, — возразил я. — Сначала пусть они загрузят машины минами.

Рядом действительно находился склад боеприпасов, и оттуда на огневые позиции курсировали грузовики. Немцев передали снабженцам и те быстро нашли им работу, а потом отправили на станцию грузить вагоны.

— Гуманничаешь, — уколол меня позже один из связистов. — А они с нашим братом не больно чикались.

— А ты знаешь, чем отличается Красная Армия от гитлеровской? — задал я ему вопрос. — Человечностью. Зачем же нам пугало из себя строить?

— Все агитируешь! — недовольно буркнул мой собеседник.

Солдата тоже можно было понять. Всякого мы насмотрелись за эти годы. Видели сожженные города и селения, и Бухенвальд видели, где заживо сжигали людей в печах. Но мстить безоружным было выше моих сил. Тем более, солдатам, возможно, обманутым Гитлером. Вот его самого, подлюку, я бы расстрелял без суда и следствия. Скольким людям заморочил он голову, сколько народу погубил.

После того случая я чаще стал читать своей команде газеты, разъяснять им что к чему. Великая миссия возлагалась теперь на Красную Армию. Мало выгнать из собственного дома непрошенных гостей, надо было помочь то же самое сделать и другим народам. Ребята уже привыкли к этому, и стал я у них за штатного политинформатора. Чуть чего — бегут ко мне с вопросами.

Но когда подошел мастер Минуков и стал просить у меня совета, вступать в партию или нет, я растерялся.

— Ну, а ты твердо уверен, что будешь честным коммунистом? — спросил я его.

— Да вроде не подличал до сей поры, — ответил он. — И балластом не собираюсь быть.

— Тогда какой разговор — подавай заявление.

Заявление Минуков подал, а через день снова приходит ко мне:

— Семен Васильевич, может, дадите рекомендацию.

С радостью бы, но я ведь беспартийный, — признался я.

— Не может быть?

— Говорю, как есть. Я беспартийный большевик.

После того разговора я написал заявление, мол, если умру, то считайте меня

коммунистом. У нас многие писали так перед боем. Но отдавать листок парторгу Сесенгалиеву постеснялся. Ну, кто я такой? Обычный радист. Подвигив не совершал, да и вряд ли придется их совершить. Связисты — это как бы армейская интеллигенция.

И я даже устыдился: дернуло меня написать эдакое. Свернул я заявление и положил его в нагрудный карман вместе с другими документами. Так и проносил его до конца войны.

МАЙ 45-го

Контратаки немцев напоминали укусы скорпиона: ужалил и — умер. Весной сорок пятого на отдельных участках продвижение нашего корпуса было настолько стремительным, что некоторые подразделения попадали под бомбежку своей же авиации. Причем в мелкие населенные пункты части, как правило, не заходили. Если там и были немецкие группы, их ликвидировали потом. Так вот, мы с Лобковым не раз натыкались на вражескую засаду. Машину частенько обстреливали, но все как-то обходилось.

До Берлина оставалось километров пятьдесят. Умирать в преддверии победы не хотелось, но и прятаться от пуль — не наш удел. Умирать — так с музыкой! — говорили мы. А вообще-то, о смерти и подумать некогда. Так и в тот день. Только вернулись с задания, как получили новый приказ — в первой батарее нужен срочный ремонт рации. Ехать туда через небольшую деревеньку, в которой по всем сведениям были немцы. Ждать, когда их оттуда выбьют или податься прямым путем? Выбираем второй вариант.

— Может, хлебом для храбрости? — предложил Лобков, открывая фляжку.

— Давай, чего уж там! — согласился я.

Тут подъехал лейтенант Шлопак. Ему тоже надо было попасть в дивизион. Трое — это уже сила. Я взял в руки пэпэша, открыл все стекла кабины «шевроле» и сказал: «Трогай свою савраску!» Шлопак на мотоцикле сначала ехал впереди, потом вдруг остановился, кажется, мотор заглохнул. Лобков быстро устранил неисправность, завел мотоцикл, но тут у нашего разведчика замандражило, и он послал нас вперед.

— Эх, аллюр — три креста! — воскликнул Лобков и поддал газу. Я посмотрел на спидометр: он показывал 90. Не отставал от нас и Шлопак. Вкупе с мотоциклом создали такой рев моторов, немцы, видимо, посчитали, что движутся танки, и обстреливать нас не стали. Проскочив поселок, вскоре мы были на месте.

— Ну и ну! — покачали головой мичменетки. Рисковали, конечно, но как обойтись без этого, коли война. Зато возвращались уже без опаски. Немецкая группа, попав в окружение, сдалась в плен, проезжая, мы видели, как солдаты складывали оружие.

К концу апреля Берлин был окружен, и нашему корпусу было приказано двигаться на Эльбу, в район Виттенберга. Вскоре мы были в 30—50 километрах от

передовых частей союзников. Наклеили на машину белые кресты — опознавательные знаки для нашей и союзной авиации. А потом была встреча с американцами. Мы большей частью общались с шоферами и механиками. У них на этих должностях были исключительно негры. Любезные ребята. Они угощали нас гаванскими сигарами, а мы их русской водкой. Вот уж поистине любители выпить.

Я сразу обратил внимание: отношение немцев к американцам совсем иное, чем к нам, русским. Похоже, что они их очень ждали. Во всяком случае, нас жители побаивались. Заезжаем в один городок — тишина, на улице ни человека. Вдруг вижу, в окне крайнего дома на втором этаже дернулась занавеска. Я спрыгнул с машины, автомат на изготовку и туда. На стук послышался плач. Дверь открылась, и на пороге появились три женщины и пятеро ребятшек. А ревели потому, что боялись мести. Так уж их, видно, настроила пропаганда. Как мог, я рассказал, что у меня дома тоже трое «киндер», показал им, чтобы они надели на рукава белые повязки.

А вскоре из домов стало выходить гражданское население. Один пожилой немец вышел с красной повязкой на рукаве и с подносом, на котором стояла бутылка вина, стакан и бутерброды. Но нам было не до угощения.

Солдаты наши вели себя сдержанно, с достоинством, как и подобает освободителям.

...В начале мая Берлин был взят. Мне удалось побывать только в пригородах. А дальше путь наш лежал на Прагу. Форсировав Эльбу в Торгау, мы направились по территории, занятой союзниками. В одном из поселков нас встречали девчата, угнанные с Украины. Они работали на ферме. Вышли с бидонами, напоили молоком, расспросили, как лучше добраться до дома. Немки со стороны наблюдали за нашей беседой, но подходить боялись. Хотя немцы тоже разные. В том же поселке ко мне подошел старик и подает сверток.

— Это от меня подарок! — сказал он по-русски.

В свертке оказалась бритва «золинген». Отказаться от такого подарка я не посмел. Это только в десовницах солдат шилом бреется. Да и было в этом подарке что-то символичное. Старик, как выяснилось, познал силу русского духа еще в первую мировую войну. Был в плену. Ну, а теперь, когда отбрили как следует фашистов, он поверил и в силу русского оружия.

ЗЛАТА ПРАГА

На пути в Чехословакию мы неожиданно отстали от колонны. Сломалось что-то в моторе. Пока шофер налаживал, наши уже были далеко. Впереди маячил какой-то городишко. И мы, решив срезать угол, двинулись через него. На улицах былолюдно, но ехать все же было опасно: а вдруг где-нибудь засели эсэсовцы? На перекрестке повстречали двух парней, гулявших с барышнями. Я подошел к ним,

стал жестикулировать, мол, как побыстрее выехать за город, в горы.

— Товарищ сержант, говорите по-русски, — сказал вдруг один из парней.

Он рассказал, что отцы их русские, попали в плен в четырнадцатом году, поженались здесь и остались. Ребята успокоили нас: город их фабричный, и потому обстановка спокойная, так что нам нечего опасаться. А для верности вызвались проводить нас.

И вскоре мы нагнали своих.

Дорога то круто взмывала под облака, то уходила в ущелье. А когда спустились в долину, нас встретили чехи. Их будто кто оповестил заранее. И так было в каждом населенном пункте, через которые следовали части. Стар и млад высыпали на улицы, женщины выносили теплую воду, мыло, полотенца и, конечно же, снесь. Девчора забралась к нам в кузов, облепила капот, подножки, просили звездочки, и вскоре не то чтоб звездочек на пилотках, пуговиц на гимнастерках не оказалось — их тоже поотрывали на сувениры.

8 мая наши танки стремительно ворвались в Прагу. Чехи, вооружившись чем могли, добивали хозяйничавших у них немцев. Даже женщины вступили в схватку с фрау, отводили душу. А на следующий день мы снова поехали на запад. Остановились в небольшом поселке возле озера и вечером устроили фейерверк — расстреляли все ракеты. В машине у меня был приемник. Часов в двенадцать ночи я включил его и слышу: «Германия капитулировала!» Я даже не поверил. Так было неожиданно, хотя все давно ждали этого сообщения.

Начальство отдыхало в доме напротив. Я заскочил туда и заорал во всю глотку:

— Конец войне!

И все, кто там был, начиная от комполка и кончая писарем, вскочили и кинулись меня обнимать-целовать. А наш снабженец сказал:

— Хорошую ты весть принес. Вот тебе ключ от кладовки: что на тебя глядит, то и бери.

Уговаривать меня не пришлось. Открыл кладовку, а там чего только нет. Взял кусок окорока, несколько банок тушенки, фляжку спирта, и на этом мои желания ограничились. Лишь бы было чем ребят угостить.

Под Златой Прагой мы провели поистине золотые денечки. За время войны мои нервы были крепко расшатаны. Бранная ругань всегда вертелась на языке. Не раз я с опаской думал: вот приеду домой, а там дети, чему же они от меня научатся. Мне казалось, что я очерствел душой. Но с первых же дней пребывания в Чехословакии, когда каждый встречный чех снимал перед нами шляпу, мое нервное, а точнее сказать дурацкое, состояние пошло на спад, и уже через месяц сквернословие как рукой сняло и на душе стало светло и радостно. И это, наверное, закономерно: когда на земле мир и спокойствие, человек становится чище и благороднее. Это война и другие несчастья будят в нем зверя.

Со дня на день мы ждали приказа о демобилизации.

Все понимали, что несладко придется начинать жизнь на гражданке, когда кругом голод и разруха. Фрицы не гнушались ничем — все вывозили в Германию.

ДО ДОМУ, ДО ХАТЫ

Отъезд из Чехословакии наше командование держало в секрете. Но жители деревни раньше нас узнали точную дату. В тот день все как один вышли провожать нас.

Радостные чувства переполнили сердца солдат: в гостях хорошо, а дома лучше.

Ехали своим ходом. Миновали Злату Прагу, поднялись на гору, и город открылся как на ладони. Мы остановились и поклонились столице Чехословакии. Проехали часть Германии, пересекли Польшу — и вот она родимая земля. У границы, у арки выстроен почетный караул. Это была первая почесть. А в четырех километрах от Львова вновь пришлось вступить в бой. Теперь уже с бендеровцами. Точнее жители указали, где находилось их гнездо. Командир полка отдал приказ дать залп по лесу.

Так освободились от опасного груза, а заодно и от нечисти, терроризировавшей местное население.

— По вагонам! — раздалась команда. Погрузили технику и скоро были в пути.

Колеса так же постукивали, как и в начале войны, но веселее. Однако если из Барнаула нас везли на фронт с курьерской скоростью, то сейчас утомительно нудно. Казалось, что поезд останавливался у каждого столба.

В Москве наш состав «рассыпался». Пока формировали новый, я побродил по городу. Москва уже успела прибраться и выглядела нарядной. А может, это мне только казалось. После тех руин, что мы видели по пути следования, ее улицы выглядели райским уголком.

А на следующий день я уже был далеко-далеко. И чем ближе к дому, тем быстрее хотелось встречи с родными. В Свердловске, Омске на вокзалах гремела медь духовых оркестров, слышались песни, а у меня все думы о родном городе. В Барнаул мы приехали в час ночи: на станции светлым-светло и тоже играет музыка. Я стою у раскрытой двери теплушки и вижу: вдоль вагонов бегут Таня, Шурик и сестра Шура.

И вот я дома, в объятиях ребятишек. Эта встреча была одной из лучших в моей жизни.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Вот такие записки оставил в наследство своим сыновьям солдат Семен Торхов. Помните его беспокойство о том, как бы не очерстветь душой и не показать детям по возвращении дурной пример? И это тогда, когда он в числе тысяч и тысяч таких же простых солдат избавил народы Европы от большой скверны, каковой был германский фашизм. Не о своем величии думал, а о грядущем поколении, понимая, что от того, каким оно вырастет, зависит прежде всего чистота источника, из которого русский народ во все времена черпал силы, поднимаясь на борьбу с врагом. Название этому источнику — патриотизм. О Родине думал солдат, без которой не представлял себя, как равно и жизнь своих детей.

Беспокойство это не прошло бесследно. Дети видели в своем отце достойный пример для подражания, образец беззаветного служения Отчизне. И выросли они такими же бескорыстными и честными, внешне похожими на него. Схожи они и счастливо сложившейся судьбой. Все трое братьев, отслужив в армии, ныне трудятся на мирном поприще. Старший, Федор, — художник, средний, Александр, — инженер, а младший, Эдик, — конструктор. У каждого дети, внуки уже пошли. И дневник деда — это завещание всей фамильной династии.

Степан ДУБИНИН

МЫ БЫЛИ КАК СОЛДАТЫ

РАССКАЗ СТАРОГО АРТИСТА

Бывало, мерный звук твоих
могучих слов
Воспламенял бойцов для битвы.

А. Майков

«Никто не знает, какой была война, — знает лишь народ», — сказал известный писатель. И это можно понять. У каждого началась и кончилась война по-разному и всего о войне никто уж не узнает, даже если создать фильм не в двадцать серий, как это уже сделано, а в сто раз больше. У меня была своя война, и мне хочется о ней рассказать.

...В переполненном до краев вагоне я лежал на третьей полке. Чтобы не свалиться на головы сидящих внизу, подстраховался веревочкой к люку вентиляции. Не доумевал: откуда такая масса пассажиров и куда?.. В основном мужчины?.. В штатском?.. По-разному одеты... И с котомками?..

На одной из остановок, среди ночи, вагон, как и весь поезд, сразу опустел. В открытые двери потянуло сквознячком, приятной прохладой... Актеры остались в вагоне одни. Я перебрался на вторую полку. Напротив устроился Коля Дружков — солист Горьковского театра оперы. Саша — седовласый иллюзионист и бригадир — с актрисами расположились внизу. Все собиравшись отсыпаться. Колеса застучали неторопливо, размеренно, успокаивающе, но заснуть никто не успел. Вошел проводник с фонарем и решительно заявил: «Все! Поезд дальше не пойдет!» — «Выходи быстрее, не задерживайся!» — «Когда выносили багаж в тамбур, увидели: невдалеке, за черневшими в ночи кустарниками, что-то взорвалось, кто-то отчаянно закричал, языки пламени рванулись в хмурое небо...»

— Что это?! — чуть не хором спросили актрисы.

— Это Ворошиловград... Он занят немцами, — ответил проводник, пожилой, солидный дядя и захлопнул дверь вагона. Поезд покатил в обратном направлении, быстро исчезал в предрассветной мгле.

Актеры с пожитками остались на рельсах одни. Огляделись. Пустынно. Недалеко от насыпи стоял маленький дощатый ларек, с большим ржавым замком на двери. Около этого ларька актеры и приземлились в ожидании рассвета. Все вокруг словно онемело. Наступившая тишина казалась за-

гадочной. Что впритык высадились к линии фронта и остались одни, — было ясно. Но что будет дальше?..

Актрисы уселись нос к носу на чемоданах и молчали. Седовласый Саша, как уважительно называли все своего бригадира, прохаживался поодаль. Мы с Колей Дружковым разминались, следуя за Сашей на расстоянии.

Никто не заметил, когда открылась дверь в ларек и как там оказался мужчина в старой кепке в клеточку. Он сидел за кучей кирзовых сапог. Внимательно осматривал один сапог и походил на мастера мелкого ремонта обуви на улицах южных городов. На приветствие Саши он не ответил. Тогда Саша попросил всех: «Гулять подальше!», а сам остался объясняться с «сапожником». Что ему удалось выяснить, Саша никому не сказал. «Сапожник» как появился, так и исчез незаметно. Только к вечеру за засохшим деревом, бывшей яблоней, в порослях, остановилась выдавшая виды полуторка.

— Это за нами, — сказал Саша и побежал к машине.

Анечка Шалфеева, молодая блондинка с голубыми глазами, наш соловей, легко вздохнула: «Ну, теперь началось!..» А у машины неотразимо улыбалась водителю, искала его глаза и спрашивала: «Теперь мы с хозяином?.. И на колесах?..» Шофер явно торопился и, не меняя серьезного и озабоченного вида, юркнул в кабину и покати нас по бездорожью...

Саша, как и положено старшему, уже заботился о настроении коллектива, спросил женщин: «Как вы посмотрите, если сейчас будет встречать вас майор?..» — «Не согласна!.. Пусть встречает генерал!..» Кузов тряхнуло и на слове «генерал» голос Анечки так капризно сработал, что никто не удержался от смеха.

А попали артисты в зону, где противник закрепился после поражения под Сталинградом и с весны там шли бои «местного значения»... Воевали не числом, а умением. Все было на исходе: личный состав, продукты... Даже командиры не успевали привести себя в должный вид. Не поесть, не поспать... Война сделала свое подлое дело. Все, что могло гореть — давно сгорело, что можно было вырубить — вырублено. Там, где были села и жили люди, там где пахали и сеяли — пустыня...

Полуторка проскочила кустарники и остановилась среди открытого поля.

— Подождите здесь, — буркнул шофер, — надо выяснить...

— А вещи?

— Оставьте! — он опять спешил и волновался. Машина, как живая, юркнула и исчезла в кустах. Артисты остались снова в неведении.

Большое выгоревшее поле — в одной стороне виднелся домик, в другой чернел дощатый сарай... Давно не было на том поле одетых в штатское и ожидало оно, конечно, не артистов, а хлеборобов... «Полюшко... Родное полюшко...» Хотелось каждому сказать такие ласковые, сердечные слова. И очень просто то же самое за всех высказал Саша: «Жили люди... мирно... пахали и сеяли... Сколько хлеба давало это поле!.. А вот — земля потрескалась — все растоптано!..»

Крепко, крепко была обижена родная земля, затаилась, молчала, ждала... А ждала она, понятно же, как и все мы, полной победы! Придет время, после майского дождика поле откроет сказочные глаза, заговорит крепко, запоет на разные голоса, заулыбается изумрудными всходами... «Не о том скорблю, подруженьки, я горюю не о том...» — тихо, тихо, чуть слышно напела Анечка. Только одну эту фразу, а голос ее высказал все!..

Не заметили, как темнело.

— Будем сегодня выступать или нет? — спросила Анечка. — Хочется петь как никогда...

— А ты пой, Анечка, пой... На этом поле должны всегда звучать хорошие песни... Поле оживет... Оно тебя услышит, — ответил ей Саша.

В сумерках не сразу заметили, что приближался солдат. Он и впрямь не шел, а приближался: не спеша, с ноги на ногу, оглядываясь. А когда подошел, ни к кому не обращаясь, будто артистов этих он видывал-перевидывал, да и вряд ли походили мы тогда на артистов, сказал:

— Женщины пойдут со мной, а мужики идите спать в тот сарай...

Обрадовались!.. Мудрейшее решение... спать!.. Спать!..

Женщины мило улыбались, делали ручкой: «Пока...» Особенно усердно, с приседанием это делала Вареско, супруга и ассистентка Саши, довольно полная дама. Они пошли за солдатом, а «мужики» направились к сараю... Ночь надвигалась — лучше не бывает: и прохладно, и тепло, и тихо!.. Звезд только маловато. Тучки густели.

Ого!.. Большой оказался сарай. И нары. В два?.. В три яруса!.. И пусто. Ни души... Тишина. В темноте заползали на нары подальше от входа. В уголке улеглись на голые доски. Горизонтальное положение!.. Освобождение мышц, блаженство. «Отосплюсь, — думалось каждому, — за все дни и ночи...» Но глаза не закрывались. В широкую дверь сарая вместе со свежим воздухом и тишиной входила и путалась по нарам темнота, колола глаза... Сон отступал. И я не удержался от разговора:

— Если это Ворошиловград, то ведь и

Ростов-Дон не так уж далеко!.. Я, можно сказать, домой приехал!.. Помню в Ростовском военном училище на выпускном вечере, после концерта, в котором и я участвовал, был, конечно, ужин... Заиграл оркестр... я вышел в слабо освещенный коридор... О том, что может быть война, я и понятия не имел. В конце коридора в одиночестве стоял майор и смотрел не отрываясь в открытое окно на спящий город, утопающий в зелени и тишине... Майор так пристально всматривался в темноту, что я невольно подошел и стал рядом... «Какая красота», — сказал майор, словно горем поделился. Я молчал. Он вздохнул и добавил: «Ночь, говорю, красивая...» Я его не понимал тогда. Ночь была действительно хороша, но все же... «Ночь, как ночь, — отвечаю, — что же там хорошего?.. Тихо, конечно, и красиво...» Майор больше не сказал ни слова, молча пошел по коридору... А вот сейчас как я его понимаю: тишина — какая это красота!

— А спать сегодня будем? — наемкнул всегда молчаливый Коля Дружков.

За стенами сарая послышались шорохи. С фантастической осторожностью, будто сарай был заминирован, молча входили и разбирались по нарам какие-то люди. «Значит тут мы будем не одни, можно спать спокойно», — подумалось мне. Потом слышу неуверенный голос: «Друзья, тут с нами отдыхают вроде артисты... Может, мы попросим и они нам... чего-нибудь?..» Кто-то даже вздохнул: «Хорошо бы...» И опять тишина. Ждали... Коля Дружков, солист Горьковского театра оперы, он лежал рядом, шепнул: «Только ты можешь...»

Мы выступали во рву, в лесу, при луне, при палящем солнце, при работе зениток, при артподготовке, в землянке, но в крошечной темноте?.. Когда никого и ничего не видно?! Да еще лежа на спине! Одному!.. Такого не случилось... О том, что двое суток не спал, забылось сразу. Что делать?.. Актерское сердце, зрительная и эмоциональная память работали молниеносно: «Как найти необходимый контакт? Заговорить от сердца к сердцу!..» В сознании — десятки фронтовых встреч. Особенно ярко вспомнился концерт на передовой... Там, на Курской!.. Откуда мы только что приехали: прямо в окопе, где как в песне поется: «до смерти четыре шага...» Мы туда шли с предосторожностями, по одному и, конечно, с проводниками... И тут, лежа в темноте сарая, я увидел именно тот удивительный фронтовой «театр»: расширенный окоп старательно оформлен березовыми ветками... На свежей земле окопа сидели плотно прижавшись друг к другу молодые солдаты... Мне подумалось, что я снова встретился с ними и теперь как родным и знакомым послал слова в темноту сарая:

Всех кого взяла война,
каждого солдата,
проводила хоть одна,
женщина когда-то!..

Были сказаны только эти несколько слов, и невольно я сделал паузу... Звенело в ушах... Нет, конечно, это мне только слы-

шалось и только виделось... А может, и впрямь сработал неведомый еще доселе луч... Но я видел, — в этом необыкновенном свете темноты и тишины, — видел глаза, сразу сотни и тысячи глаз, полных жизни, страсти, творческого огня, человеческого счастья... Глаза сходились, приближались, вспоминали, слушали, понимали, улыбались, смеялись, радовались... Хотелось смотреть в эти необыкновенные глаза и говорить, говорить — радоваться вместе с ними, говорить самое главное, желанное, и все это было в стихах Твардовского и, к моему счастью, я их знал: «Да, друзья, любовь жены, кто не знал, поверьте — на войне сильней войны и, быть может, смерти...» — не торопясь говорил я, а слова разбирались в темной тишине по нараму, роднились с умными фронтовыми сердцами и возвращались ко мне в темный угол, как искры, необыкновенным, взволнованным смыслом; и уже казалось, что эти слова не я говорил, а они рождались здесь, в сердцах все знающих, все переживших, в мудрых сердцах воинов: «У войны короткий путь, у любви — далекий и ее большому дню сроки близки. ныне». Кто-то встретился с матерью, тот с любимой, этого обняла дочурка, а этого! — счастливейшего из счастливых — встречают похудевшие, но подросшие сынки и хором кричат: «С Победой, папа!..»

Пауза... Нет — целая минута, наполненная тишиной и думами. Саша шепнул: «Шолохова...»

А я — уже казалось, не я, а Звягинцев — вот уже заметил погрустившее, усталое лицо боевого друга Николая Лопехина, бронебойщика, — да вот он, рядом со мной лежит на нарах. Не артист Коля Дружков, а Лопехин Николай, я даже дотронулся до него и спросил: «Миккола... Тебе все больше сынок письма шлет, а от жены писем что-то я не примечал у тебя. Ты не вдовый?» — «Нет у меня жены... Ушла...» — ответил я за него, чуть изменив голос на шрипотцу.

В темноте — не удержались от смеха... И завязался у фронтовых друзей серьезный разговор о жизни мирской — довоенной и фронтовой, и заработала удивительная сила шолоховского слова, его неподдельного, мудрого, народного юмора. (Отдельные главы романа «Они сражались за Родину» тогда уже печатались в газетах и одну главу я знал на память.)

Смех, веселье. Юмор — это, брат, могучее дело...

Вспоминаю ту ночь в сарае теперь, когда не спишь и рисуешь прямо-таки картина Репина — люди могучие, несокрушимые, веселые и по-своему благородные... Не для сравнения, конечно, говорю... Но в сарае в ту ночь смеялись воины наши так дружно, от души, что если бы не темнота, можно бы нарисовать картину, не уступающую «Запорожцам», — каждый взрыв смеха говорил: «Все равно победим...»

И вспоминается еще одна картина: ужинали мы как-то с генералом где-то под Харьковом, в лесу... Ночь тоже была темная. В большой палатке, на столе — «Катюши»... Генерал пожилой, грузный, бритая

голова... Пришел усталый, и, видно, у нас актеров и актрис был не очень «боевой» вид — скучно сидели за столом... Генерал осмотрел всех и сказал, строго так: «Ужинайте, все равно победим...» Всем стало весело и поужинали с удовольствием. Жаль фамилии генерала не помню... А вот его: «Все равно победим» не забывается, и та ночь в сарае — не забывается...

Смех — это, брат, особая сила — все-народная... И сейчас, как слышу дружный смех наших зрителей в театре или в кино, радость берет и вспоминаю ту ночь в сарае и генерала: «Все равно победим...» Недаром на фронте так любили юмор. Журналистик такой печатали для фронтовиков... Помню, ходил такой рассказ о Гитлере. (Тогда в сарае я его тоже вспомнил и рассказал.): «...Фюрер объявлял тотальную мобилизацию. Пошли у него большие потери в живой силе. Чтобы не попасть на русский фронт, фрицы стали скрываться в домах для сумасшедших, выказывали себя умалишенными. Когда Гитлер узнал об этом — не поверил и решил побывать в таком доме сам. Всюду в сумасшедших домах стали готовиться к встрече высокого гостя. Ненормальных выстраивали и учили кричать: «Хайль Гитлер!» Когда в одном доме появился фюрер, все громко кричали: «Хайль Гитлер», только один старик стоял в стороне и молчал. К нему подбежал погечитель и зашипел: «Ты почему не кричишь «хайль Гитлер»? Старик спокойно ответил: «Я не сумасшедший... я сторож...»

Рассказываю, принимают, смеются... Сон прошел, на душе хорошо... А время, наверное, за полночь... Чувствую, дело затягивается — «программа-то» идет экспромтом. Читаю все, что в памяти всплывает. «Отдыхать надо солдатам, — думаю, — фронт ведь это...» И вроде как на финал читаю щипачевское:

Выйди в поле, рожь чудесная,
урожай у нас хорош,
есть пословица известная,
что посеял — то пожнешь.
Гитлер хочет хлеба нашего,
нет, получишь ты не рожь,
сеешь бомбы, ржи не спрашивай,
что посеял — то пожнешь!..

Кто-то от души поставил точку: «Правильно». Артист — всегда артист. О том, что спать надо, уже и не думалось. Спрашиваю: «Если вы не устали, хотите я почитаю Чехова?..» Читаю один рассказ, другой, было ясно — спать никто не собирается. В шутку спрашиваю: «За то, что не выспитесь, под трибунал не пойду?..» — «Нет, пожалуйста, очень рады... Хорошо...» — отвечают из разных углов сарая, а я уж со всей серьезностью спросил: «А не думает ли кто из вас жениться?..» — не засмеялись, а грохнули, да так, что, наверное, слышно было фрицам за рекой... Когда чуть затихли, говорю: «Советую выслушать серьезно, без смеха, очень полезное «Руководство для желающих жениться...» Слышу уже не смеются, а так, с каким-то стоном или рыданием, катаются по нараму. «Только это «совершенно секрет-

но», — говорю, — между нами», — и прочел еще один чеховский рассказ, он так и называется — «Руководство для желающих жениться».

А читалось легко, радостно, да как было не радоваться, как было не появиться вдохновению... Ведь слушали — родные воины... И как слушали!.. И темнота не мешала, скорее помогала родниться душам и сердцам... От души принимали, как мы, актеры, говорим... Артист — всегда артист... Почувствовал, что завоевал внимание, стал, как говорят, «хозяином публики» — не остановишься. Прочел еще «Гусара» пушкинского. «Необыкновенное приключение» Маяковского прочел... И опять спросил: «Может, вспомним что-либо из «Евгения Онегина»?..» — В ответ, как неожиданная встреча с родным и желанным: «О-о-о!»

Не видел я своих слушателей в тот раз, и меня никто не видел, лежащего в темном углу сарая, но знаю, много друзей стало у меня в ту ночь...

И вот хранится документ. И можно прочесть строки из отзывов о работе бригады артистов, направленных Горьковским отделением искусства в распоряжение ЦДКА в 1943 году.

«Бригада артистов, выполняя свою работу непосредственно на передовой линии, заслуженно пользовалась большим и исключительным успехом у бойцов, командиров и политработников в соединении, которым командует гвардии генерал-лейтенант тов. Гаген.

Проведено 46 концертов за короткий срок с 18 июля по 2 августа 1943 года. Бригада продемонстрировала высокое качество, зрелость и глубокое содержание нашего советского искусства.

Отличное художественное мастерство всего театрального коллектива, исключительная работоспособность, несмотря на трудности фронтовой обстановки, создали ему популярность и заслуженный авторитет в наших частях и подразделениях.

Военный совет армии, выражая свое удовлетворение за проделанную большую работу среди личного состава, объявляет всей бригаде артистов благодарность.

Командующий армией,
гвардии генерал-лейтенант — *Гаген.*

Член Военного совета,
гвардии генерал-майор — *Бочаров.*

Начальник политотдела — *Линев.*

Начальник штаба, генерал-майор —
Карпунин.

«...В течение трех суток коллектив дал одиннадцать концертов.

Бойцы, командиры и политработники от души горячо, по-гвардейски благодарят актеров за их кратковременную, но большую работу.

Концерты коллектива отличались рекламной скромностью и огромной творческой созидательностью, заслуживающей боевой, гвардейской благодарности.

...Благодарим небольшой коллектив за его большую любовь к нашей Армии...»

Командир гвардейской
краснознаменной СД — *Любников.*

Зам. командира Н-ской
гв. краснознаменной СД — *Титов.*

Начальник штаба — *Шуба.*

В газете «Горьковская коммуна» было рассказано о работе нашей группы артистов на фронте и еще о том, что Коля Дружков с винтовкой в руках участвовал в бою с группировкой фашистов. Это было в ту ночь. «Начитавшись», я заснул крепким, безмятежным сном. Наверное, чересчур крепким. В это время «страшась вступить в открытой бой», под покровом темноты, «как тать презренный», фашисты переправились через реку и двигались к сараю. Но все получилось не так, как в песне К. Рылева «Ермак». В сарае, кроме меня, еще никто заснуть не смог. Душа наших воинов была отвагою полна...

Коля Дружков — красивейшей души человек и артист необыкновенный. Не очень крупная, но статная фигура. Несколько мрачноватое и, пожалуй, даже суровое лицо, мужественные черты. И как-то по-своему, я бы сказал, не по-актерски, Коля был сосредоточен, молчалив и очень понятен в своем немногословии. Посмотришь на него и ясно видно, как он настроен, что думает, что он хочет петь и как он будет петь. А пел он всегда изумительно!.. Песни как-то возникали у него в груди и летели прямо в сердце слушателей... И уже не умолкали — звучали по всем дорогам войны. А случалось, Коля Дружков услышит: где-то вдаль, в перелеске, рыдает одинокая фронтовая гармонь, — помчится туда, отыщет ее, сердешную, и уже там слышен его голос. Народная или фронтовая задушевная... И ему подпевают перелески, и поля зеленые, и небо синее... Артист — всегда артист.

Рюрик ПОВИЛЕИКО,
кандидат технических наук

АРГУМЕНТ В СТО МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Человек и змеи. Только представьте себе такое: человек посреди каменного цирка, и вокруг изо всех щелей с самого влажного низа и до самых верхов сухой осыпи — курумника — встали и качаются миллион змей черных, коричневых, серых, зеленых, красных. Раскачиваются, шипят, сдвигаются. Да неужели такое может выдержать человеческое сердце? Дантов ад, вероятно, веселее. Вот здесь только и сохранился последний вход в подземное царство теней. Все остальные — в Греции, в Риме, в Египте — разрушило своим воинственным атеизмом вознегодовавшее человечество.

— И вы это все сами видели? — обратился я с наивным вопросом к человеку, сидящему напротив меня в теплом номере горно-алтайской гостиницы «Голубой Алтай» в январе этого года. — И вы с таким встретились?

— Это уже дело прошлое. Сколько такого на пути нам, геологам, встречается. Вспоминать приятно.

Почти 10 лет тому назад далеко за Телецким озером, в глубине Чулышманской долины, я услышал от проводника-алтайца имя геолога Юрия Владимировича Никифорова. С какими только легендами в ряду не упоминался он: редчайшие чудо-камни, пещерный «жемчуг», древние неведомые растения в уникальных отпечатках, ядовитые двойники целебного золотого корня, алтайское мумие, странные, не похожие ни на что известные находки и явления. И среди них одна из совершенно невероятных в представлении — встреча со змеиным царством.

Десятки раз я был в Горном Алтае, десятки раз пытался встретиться с этим человеком и только вот сейчас этот вечер состоялся. Кто же он такой? Врожденный искатель-самородок, «счастливчик», открывший в горах Алтая десятки ценнейших месторождений, геолог-орденоносец с 30-летним стажем, он уже давно хочет написать книгу о приключениях своей жизни. Напишет ли? А пока откроем эту ненаписанную книгу, на одной странице ко-

торой повествуется о Человеке среди змей.

Забота горно-алтайских геологов. Работает недалеко от Горно-Алтайска в поселке Майме Алтайская геофизическая экспедиция. Это довольно значительная по горно-алтайским масштабам организация. В ней более 30 инженеров и около 100 техников девяти различных специальностей (есть даже такие — «помощники-записаторы») и почти 100 кадровых рабочих 23 различных профессий, многие из которых пришли в экспедицию 5-8 лет тому назад, а то и раньше, да так и остались здесь.

Несколько лет тому назад работники экспедиции завершали измерения сил тяжести в зоне Катунского глубинного разлома земной коры. В этой зоне многие косвенные данные давно уже заставляли предположить концентрацию значительных рудных месторождений. Гравиметрическая съемка долины реки Катунь и прилегающей к ней территории нужна была для того, чтобы направить последующее поисковое бурение, которое планировалось начать летом.

Профессиональные заботы привели геолога Алтайской геофизической экспедиции Юрия Никифорова с товарищами по долине Катунь к устью реки Кадрин в Змеиный курум. То, с чем они столкнулись здесь, было уникальнейшим природным явлением, не поддающимся описанию обычными словами. Это случилось в самом конце зимы. Из всех историй и легенд, которые бытуют в Горном Алтае, эта, пожалуй, самая замечательная, самая захватывающая. Даже не верится, что она произошла не где-то в джунглях Бразилии или Африки, а здесь, рядом с нами, с нашими ровесниками-знакомыми. Но представлю слово самому Юрию Никифорову; вот содержание его заметки, опубликованной в областной газете «Звезда Алтая», в которой не изменена даже запятая.

Рассказ геолога Юрия Никифорова:
«В долине Катунь — от поселка Верх-Ка-

янча до устья реки Кадрин — есть места, где из-под камней дует теплый ветер, а в одном провале зимой водятся лягушки. Самое близкое место находится в двух километрах выше устья Урсула, в правом борту долины Катунь. Мы с геологом М. Кастрицким решили осмотреть эти таинственные камни. Стоял морозный февраль.

Поднявшись, мы увидели циркообразное овальное углубление размером 30×70 метров, сложенное крупно-глыбовым курумником, по-видимому, ледникового происхождения. Борты цирка имеют вид стен и поднимаются на десятки метров. Кругом белым-бело. Толщина снежного покрова составляла 10—20 сантиметров, а в указанном месте снег лежал на валунах в виде частых крупных кристаллов. Между камнями его не было. Из-под крупных валунов дул теплый ветер. Кое-где виднелась зеленая трава, а в одном месте под камень выпала змея.

Вернувшись в Майму, мы рассказали об этом главному геологу экспедиции. Он показал нам фотографию мемориальной доски, на которой было написано: «Здесь охотниками более 100 лет тому назад в ручье зимой были обнаружены живые змеи».

Это место было названо «Змеиным колодцем». Ныне там широко известный алтайский курорт «Белокуриха». А что, если в Прикутунье поискать такой же источник?

По заданию администрации Алтайской геофизической экспедиции в начале марта мы выехали на Змеиный курум, чтобы провести геофизические наблюдения. В составе группы были, кроме меня, техники-геофизики А. Л. Улыбин и В. В. Тюфяков. И вот мы на месте. Температура окружающего воздуха — минус три градуса, а в щелях между валунами — плюс 4,7. Содержание радона в воздухе оказалось повышенным.

Решили выкопать шурф.

После углубления на полтора метра присели отдохнуть. Как только прибор зашумел, из многочисленных щелей показались змеиные головы. Змеи были различной окраски и их было так много, что мы в ужасе отпрянули. Работу пришлось прекратить. На другой день хлопьями повалил пушистый снег, покрывая ровным ковром окружающую местность. У Змеиног курума снег, не долетая до земли, таял в воздухе. Мы прошли по склону до реки Сумульты и обнаружили еще несколько проталин, также выложенных курумником. Правда, живых змей увидеть там не удалось, зато вокруг валялось множество старых змеиных шкур.

Горячих источников по берегу Катунь найдено не было. В отобранных пробах почвы и корней кустарника при спектральном анализе обнаружено высокое содержание некоторых ценных металлов. Природная загадка Змеиног курума осталась невыясненной. Места эти ждут исследователей.

Опыты алтайских герпетологов. «Юрий Владимирович, со времени открытия вами Змеиног курума прошло несколько лет.

Не мог за это время погибнуть он — химия, опыление, люди, бродячие змееловы, техника, полезные ископаемые?» — «До нас бы сведения дошли. Думаю, что естественная изоляция его сохранится еще 5-6 лет, а дальше не знаю. Хорошо, дороги туда плохие — добираться трудно». — «А кто-нибудь еще на Алтае интересуется змеями?» — «Да. Я знаю, что в Алтайском мединституте давно и весьма успешно идут лабораторные исследования с помощью яда гадюк и гремучих змей с целью создания моделей очень тяжелых, часто смертельных кровотечений, которые наблюдаются в акушерской практике, при операциях на легких, печени, поджелудочной железе, при болезнях почек, предстательной железы. Мне называли профессоров П. П. Перфильева и З. С. Баркаган — они занимаются. Лучше об этом у медиков спросить».

Действительно, все алтайские медики знают хорошо эти два имени по Барнаульскому мединституту. Оба эти человека считаются в стране выдающимися специалистами по змеям — герпетологами. Баркаган Зиновий Соломонович, доктор медицинских наук и Перфильев Петр Павлович, лауреат Государственной премии, доктор биологических наук являются авторами совместной брошюры об укусах змей, изданной на Алтае. Оба специализируются по методам оказания первой помощи при отравлении ядом змей, каждый из них не менее 30—40 лет занимается змеями в лабораторных и природных условиях. Люди исключительной методичности и личной смелости. Очевидцы утверждают, что они лично проверяли безопасность отсасывания яда ртом. Один из них в присутствии ряда научных сотрудников и врачей принял внутрь 52 мг сухого яда гюрзы, разведенного в 0,3 мл воды. Эта доза превышает количество яда, вводимого гюрзой в тело жертвы при одном укусе. В течение 15 минут яд держался во рту, а затем вместе с выделившейся слюной был проглочен. Никаких местных и общих признаков отравления не было, хотя незадолго до этого у подопытного был удален зуб и имелась не вполне зажившая ранка в зубной лунке.

Говорят, в яде змеи живет бессмертие человека. Сегодня яд змеи — лекарство против болезней. Но станет ли яд этот эликсиром бессмертия? Что скажут врачи в 2000 году?!

Очень интересно...

Экономика и змеи! То, что змеиный яд — страшнейший по быстроте и силе воздействия, знают все. Но многим ли известно, что яд-убийца — основа исключительно действенных препаратов против десятков острейших заболеваний. Об этом написал письмо в газету «Правда» профессор З. Баркаган:

«Змеиный яд — уникальный по своим свойствам продукт живой природы, состоящий из комплекса очень ценных, зачастую незаменимых биологически активных веществ и ферментов. С каждым годом открываются все новые и новые перспективы использования как цельных ядов, так и отдельных их составных частей». Но

завершается письмо печально: яды эти на исследования планомерно не выделяют, а ученые экономят каждую его крупницу, прекрасно зная, что яд этот дороже золота и платины. Многие килограммы этого яда требуются сегодня стране (сколько — об этом пойдет речь дальше), но таких запросов, такой нагрузки природа выдерживать не в состоянии.

С этим письмом в руках корреспонденты газеты Н. Морозов и А. Мурзин проехали по маршруту Фрунзе—Ташкент—Кушка—Москва, побывали в ведущих заповедниках змей — серпентариях и написали в итоге проблемную статью «Что в чаше Гипократа?» («Правда», 8 декабря 1981 г.). Чаша Гипократа со змеей, ее обвивающей и выпускающей яд, — эмблема современной медицины. Змея — враг человека? Змея — друг его! И требует змея такой же охраны, как любое другое редчайшее живое существо. Завтра чаша Гипократа может оказаться пустой — разумно ли это?!

В острой постановочной статье называются многие ведомства: Минсельхоз, Минздрав, Госкомлесхоз, Госкомцен, Госкомтруд, академические институты. Но в плане нашей постановки вопроса важна одна болезненная строка этой статьи. Змеиный яд потребляют, перерабатывают по всей стране, но оказывается, что сегодня промысловых змей не отыскать уже ни в горах Кавказа, ни на юге Украины, ни в пустынях Средней Азии. Оказывается, главной базой их ловли стали Томская, Новосибирская области и Алтай.

Змеями занимались многие: врачи, генетики, зоологи, географы, химики, физики-бионики и люди еще доброго десятка специальностей. Не занимались змеями экономисты; попытаемся же отразить точку зрения экономиста. Итак, экономика и змеи...

Этот страшный змеиный яд. Надо сказать несколько слов о том, что же из себя представляет этот страшный яд и как он добывается. Змеиный яд — бесцветен, без запаха, слегка затхлый привкус, иногда мутен. Капля змеиного яда при высыхании образует тонко просвечивающие кристаллики, которые разрушаются от бактерий и гниения. В жидком виде быстро загнивает, высушенный сохраняет свои свойства до 20—30 лет. Так, 25 лет, с 1937 г. по 1962 г., лежал высушенный яд кобры (привезен из Индии), и после этого он, как показали исследования, полностью сохранил свои высокие токсические свойства. Главное, чтобы высушенный змеиный яд при хранении не отсыревал. Нагревание до 80—100°C уничтожает ядовитые свойства (для гадюк и гремучих змей, но не для аспидов-кобр). Настоящая кладовая сильнодействующих ферментов. Во всех ядах змеи имеются некоторые одинаковые ферменты, но у гадюк и гремучих яды прежде всего вызывают свертывание крови. Введение «антисвертывающих» веществ делает животных нечувствительными к смертельным дозам яда гадюк.

Как выдаивают яд. Крупнейшим в стране змеепитомником-серпентарием является сегодня Ташкентский; в нем змеи на-

ходятся в особых вольерах, где поддерживаются необходимая температура, влажность, освещенность. Все змеи здесь распределены по видам. Изъятие яда, или «доение» змей, проводится раз в 2-3 недели. Обычно берут яд каждые 20 дней с прекращением кормления за 3—5 дней до этого: Порядок: правой рукой осторожно берет за шею змея и подставляется специальный сосудик, в край которого змея немедленно вцепляется, в это время железы ее массируются или небо раздражается слабым током, остается капля яда — сырье, которое поступает затем на дальнейшую обработку. Эта обработка заключается прежде всего в том, что яд сразу же замораживается до -20°C , а затем подвергается вакуумной сушке (так называемой лиофильной сушке). В результате концентрат уменьшается в весе по сравнению с сырьем в 5—10 раз; обычно считается, что вес сухого остатка в 5 раз меньше жидкой основы. Процедура электровыдаивания яда у опытного специалиста длится не более 1 минуты. В течение 2—3 часов 5 штатных сотрудников-специалистов передаивают все поголовье ядовитых змей питомника.

Сколько яда способны дать змеи. Из опыта установлено, что от малых полуметровых змей получают 10—50 мг сухого яда, от крупных полуметровых — до 250 мг или даже несколько выше. Сколько жидкого яда способны дать различные виды змей: гюрза — 300 мг, кобра — 200, щитомордник — 150, эфа — 50, гадюка Ренарда — всего 30 мг. В среднем от змеи за ее жизнь в питомнике получают в худшем случае 30—40 мг сухого яда, в лучшем случае — до 300—400 мг; последние цифры редки и зависят от продолжительности жизни змеи. В неволе жизнь змей удается доводить: кобр — до 6 лет, гадюк — до 3, других змей — до 1,0—1,5 лет.

Прекращение отдаивания яда увеличивает жизнь змей и способствует их восстановлению.

Змея — охотничьи хозяйства. В конце срока ядовязтия были в порядке эксперимента вынужены 500 меченых гюрз, и следующей весной многие из них снова попались. Это сделал на юге Средней Азии в Кушке смелый биолог-экспериментатор Юрий Орлов. Затем им исследования были продолжены и повторены. После взятия яда он выпустил в природу многие сотни меченых змей и выяснил, что самые крупные из них за год уходят иногда на десятки километров. Однако на определенной территории все-таки возникают благоприятные условия и змеи постепенно заполняют ее.

Спрос на змеиный яд, как известно, значительно превышает его производство. Самое целесообразное в настоящее время на определенных территориях создавать серпентарии-резерваты, в которых змеи содержатся лишь несколько дней и после взятия яда отпускаются туда, откуда их взяли. В этих змееохотничьих хозяйствах не потребуется решать самую трудную проблему — кормление змей в неволе.

Судя по сообщениям геологов, Змеиный курум может стать идеальным местом для создания базового змееохотничьего хозяйства. При соответствующих условиях и организации змеехозяйство Змеиный курум обеспечит потребности в змеином яде для Урала, Сибири и Дальнего Востока, то есть практически всего Востока нашей страны. Если же брать во внимание все змеиные ресурсы Алтая, то можно думать и о большем. Во всяком случае обсчитать здесь кое-что можно...

Об охране и рациональном использовании змей. В стране установлен и действует лицензионный порядок отлова змей по лимитам. Категорически запрещена покупка змей от случайных лиц. В местах наибольшего скопления, массовых зимовках змей организуются специальные научные заказники. Уничтожая грызунов или саранчу, змеи приносят сельскому хозяйству огромную пользу. Там, где змееловы особенно усердствуют, вылавливая змей начисто, грызуны размножаются с катастрофической быстротой, появляется несметное количество пауков, каракуртов, саранчи. К сожалению, численность змей в Сибири, в Узбекистане, Южном Казахстане и в других местах страны быстро и резко уменьшается, их встречается все меньше и меньше из-за новостроек с уменьшением площади необрабатываемых земель, массовой их гибелью во время пахоты, перегона скота, механической сеноуборки и др. Все меньше остается целины, тракторы запахивают овраги и трещины — основные места обитания змей.

Основные причины уменьшения змей: а) меняется ландшафт планеты; б) уменьшается количество мест, подходящих для обитания; в) змей вылавливают все более активно, особенно на экспорт (требуется их яд все острее); г) уменьшение возможностей пищевого рациона змей (общее химическое загрязнение биосферы, уничтожение грызунов и др.); ж) Кладовая природы не неисчерпаема, и очень, очень жаль, что люди часто совершенно несправедливо убивают любых случайных встреченных пресмыкающихся и прежде всего змей. Змеи, этот ценнейший генетический фонд природы, на грани полного исчезновения. Не убивайте их зря! Змеиный курум представляет уникальную общегосударственную ценность; вполне возможно, что в Горном Алтае он не один — такие объекты должны быть сохранены в неприкосновенности вплоть до создания плана их единого индустриального освоения.

О лекарственном значении змеиного яда. Очень широки возможности и перспективы применения змеиного яда в современной фармакологии, медицине, экспериментальной химии. Широко известен препарат випралгин, уменьшающий боли при ревматизме и поражении нервов, есть и другие препараты. Лекарство кобротоксин на основе яда кобры успешно применяется при заболеваниях центральной нервной системы, при спазмах сосудов сердца, при бронхиальной астме и ряде других. Из яда гремучих змей и гадюк изготавливаются препараты: виброкутан, вибротокс, виброзид (обезболивающие, от-

влекающие средства), вещества, быстро свертывающие и останавливающие кровь, а также стипвен, рептилаза, лебетокс и др. В Таллине создан випроксин для болеющих радикулитом — он эффективнее импортных випралгина, випразиды, випрокотана и випротокса. Кровоостанавливающие средства из яда гюрзы вырабатывают в Душанбинском и Алтайском мединститутах.

С помощью ядов гадюки Рассела и гюрзы очень легко диагностируются две очень сходных формы кровоточивости.

Недостаток лекарственных препаратов. В начале прошлого века американские охотники, запасавшие целебный змеиный жир, за 3 рабочих дня убили 1104 гремучих змей. Сейчас на поимку такого количества змей подписывает договор-заказ целая бригада из 2—4 опытных ловцов на целый сезон. Теоретически считается, что опытные ловцы, хорошо знающие места обитания змей и сроки их отлова, могут добыть за рабочий день до 50 разных змей.

Практически в последние годы нередко случаи, когда бригады опытных ловцов вместо 1—2 тысяч заказываемых змей привозят даже с сезонного лова не 200, а хорошо если 20, то есть фактически возвращаются ни с чем. Особенно часто это начинает случаться в индустриально осваиваемой Сибири. Потребности в змеином яде одного Таллинского химико-фармацевтического завода сегодня выше, чем то количество яда, которое дают все змееловы страны. Уже сейчас запросы медицины и фармакологии в стране удовлетворяются лишь на 10%, и это если пренебречь огромными экспортными запросами. А ведь помимо медицины змеиными ядами заинтересовалась биохимия и другие науки.

Экономические аспекты змеедобытия. В стране более 20 лет широко эксплуатируют ядовитых змей. Ежегодно требуется, считая только крупные виды, 10 тысяч взрослых здоровых змей. Они собираются в 9 серпентариях, 5 из которых созданы за последние 10 лет. Можно прямо убить пойманную змею, отпрепарировать ее железы и взять яд. Это безопасно, но не экономично. Выгодней поймать змею, сохранить ее живой, поместить в соответствующие условия, обеспечивающие ее жизнедеятельность и примерно 1 раз в месяц (или 10—15 раз в год) брать у нее накопленный яд. К сожалению, в неволе змеи долго не выживают. Вот почему почти каждую пойманную змею можно считать погибшей. Сотни тысяч змей уже нашли смерть в серпентариях. Сырьевая база ядодобытия в стране сильно подорвана.

Пример типичного заказа медиков зообазе на сезон: яда гюрзы — 500 г, яда степной гадюки — 100 г, яда гадюки обыкновенной — 50 г. Для этого только гадюк обыкновенных надо отловить за сезон 3 тысячи штук с оплатой по 1 рублю за голову степной гадюки и по 3 рубля за голову гадюки обыкновенной (гюрза — от 10 до 25 рублей за голову в зависимости от размеров). Но сегодня на-

ходить змей очень непросто. Даже опытный ловец берет в среднем за день 1 гюрзу, доставляет партию 50—100 штук за сезон в среднем по 20 рублей за отловленную гюрзу.

Сколько стоит змеиный яд. Предположим, что типовой план одной бригаде опытных змееловов — 800 гюрз и 100 кобр — за сезон выполнен. За год от них можно получить примерно 10 тысяч ядовзятий. Итого: 1 кг сухого яда, невзрачного желтого вещества в стеклянной баночке. Год работы большого серпентария укладывается в небольшой стерильный стаканчик. Но эта баночка, этот стаканчик много раз дороже золота, в сотни раз дороже золота по весу.

Одна баночка с килограммом змеино-го яда обеспечивает государству сегодня до 100.000 рублей чистой прибыли. Хотя недавно был поставлен и прошел по экранам весьма неудачный фильм о продаже банки со змеиным ядом (девушка вроде хотела наказать возлюбленного), на самом деле такие кражи в нашей стране не фиксировались. Есть все основания считать, что цена 1 кг змеино-го яда в ближайшие 3—5 лет может возрасти до 0,3—0,5 млн. рублей (производственные затраты незначительны). Экспортные возможности и валютная оплата змеино-го яда и мяса на современном внешнем рынке практически не ограничены.

Ценность Змеино-го курума. Запасы змеино-го сырья в самом Змеином куруме и его окрестностях оцениваются по данным очевидцев цифрой не менее чем 100.000 больших крупных змей. Цифра в 1 миллион змей более образна, нежели действительна и без тщательной проверки вряд ли может быть положена в основу экономических расчетов (хотя в целом для всего Горного Алтая она вполне допустима). Исходим из ежегодной реально планируемой потребности страны в 10.000 взрослых змей (хотя эта цифра и представляется явно заниженной). Следовательно, только один Змеиный курум обеспечит потребности страны в змеином яде на 10—15 лет, а при разумной охране и эксплуатации природного участка и значительно дольше и более. Змеиный курум может давать ежегодно не менее 10—15 кг сухого змеино-го яда и чистой прибыли государству до 5—8 млн. рублей в год. С расчетом 10—15-летней эксплуатации стоимость Змеино-го курума может быть оценена в 50—100 млн. рублей. Опять же, могут быть ошибки в оценке одного Змеино-го курума, но в целом для змеиных ресурсов Горного Алтая эта цифра при жесткой охране змей представляется весьма и весьма правдоподобной.

В данном расчете не учтены следующие факторы: а) ценность змей в экологическом цикле для сельского хозяйства (расселение); б) ценность кожи (выделка) и мяса змей в экспортных поставках; в) генетическая ценность такого сообщества змей. Во всяком случае величина стоимости в этом плане может быть оценена цифрой такого же порядка; в связи с этим разумно ожидать, что цена Змеино-го курума может быть смело удвоена

или утроена. Таким образом есть все основания считать, что необходимо при любых условиях сохранить в целостности и неприкосновенности, приложив для этого все возможные усилия, это уникальнейшее месторождение — Змеиный курум. Но изолированно, вне целой системы природоохранных мероприятий, охватывающих Горный Алтай в целом, этот вопрос вряд ли будет быстро, рационально и своевременно решен.

Тайны Горного Алтая. Уже далеко за полночь, окна и балкон обсыпает мягкий радужный снег. Не хватает силы и нет желания кончать разговор с Ю. В. Никифоровым, хочется слушать, слушать и слушать его рассказы.

— Вам, наверное, надолго запомнился Змеиный курум?

— Да, тот сезон был интересным. Как раз тогда из карьера, где берут гравий, песок, расположенного недалеко от Катунки, между поселками Союзга и Усть-Муны, мне в руки попали кусочки металла, одинаковые по форме, словно отштампованные в виде чечевицы. Гладко отполированные, они обладали неимоверной крепостью, не поддавались напильнику, выдерживали сильнее с размаху удары молотка.

Это заинтересовало меня. Ни на платину, ни на серебро и уж тем более на алюминий это не было похоже. Обратился я за консультацией к томским ученым-металлургам.

Лабораторный анализ показал, что сплав металла неизвестен.

— Откуда же взялись эти «чечевицы», как оказались они в алтайских горах?

— Это нераскрытая тайна.

— И много таких тайн у Горного Алтая?

— Да. Скажу о том, с чем я лично встретился. В районе Кош-Агача есть озеро Бумажное — оно вдруг может покрыться упругим слоем вещества бумажной консистенции. В Верх-Уймонской долине в 1978 году нами фиксировались свечения, идущие в небо снизу, и летающие, светящиеся, четко очерченные, узкие облака плазменного вида.

— Не в тех ли местах, где был Николай Рерих?

— Да, говорят он нечто подобное тоже фиксировал. На хребте Чихачева я нашел обломком матово-черного алевралита с серебристым отпечатком древнего неизвестного растения. Свыше 1800 растений на Алтае и каждое девятое из них эндемик, больше нигде на земле не растет.

— Ну, а что вам более всего запомнилось из встреченного в Горном Алтае?

— Больше всего меня как геолога поразило недалеко от Усть-Кана на склоне горы объект, который я рассмотрел, измерил, сфотографировал. Светлый квадрат по ребру 25 метров и внутри темный квадрат с 5-метровыми сторонами. Что интересно, это коренные породы, не просто отпечаток на поверхности. Никакого разумного, удовлетворяющего меня объяснения этому природному явлению я до сих пор найти не могу.

О змеях, но в итоге и не только о них. Горный Алтай становится одним из последних в нашей стране прибежищ для змей. Дело и в змеях, но и, конечно же, не только в них.

Горный Алтай — уникальнейший природный ареал страны. Практически нетронутые горы, огромные массивы кедрача, царская по вкусу рыба хариус, неповторимый растительный мир (живая горная аптека), целительный воздух, лечебная вода — трудно даже назвать что-то в Горном Алтае и не прибавить эпитетов, определений «единственный в мире», «неповторимый», «уникальный». Огромный экономический и социальный эффект для государства может быть не только в директивном насаждении земли промышленностью, но и в ряде случаев — в категорическом отказе от промышленности. **Горный Алтай может и должен стать Национальным парком культуры, Главврачом страны.** Змеиный яд — лишь одно из бесценнейших врачевательных средств-лекарств Горного Алтая.

Давно пора перевести поток отдыхающих со всей Сибири и Дальнего Востока в сторону Алтая, Тувы, целительных предгорий и гор. Экологически Крым, Черноморье, Кавказ не просто перегружены, но уже перестают быть местом действитель-

ного оздоровления — посещение их все более носит престижный характер. А национальный парк — это не копирование американского опыта создания резервации. Это поиск собственного советского пути решения в комплексе экологических, культурных, национальных проблем. Не случайно Н. Рерих назвал Горный Алтай «жемчужиной Сибири». Фантастика и реальность здесь соседствуют. Впервые в истории целый край, целая область, огромный географический и природный ареал, не теряя темпов промышленного и сельскохозяйственного развития, а наоборот, увы-страдая, совершенствуя их, может стать экологическим заповедником. Должен стать.

Человек издревле страшился. Змеи и тяготел к ней. Страшился ее яда и веровал, что в яде этом бессмертие человеческое — тайна из тайн. Неужели эта тайна уйдет неразгаданной из жизни, умрет в долинах и курумах Горного Алтая? Не должна умереть! Мы веруем, что должны быть вечно живы наши матери и отцы. Мы хотим веровать в свою бесконечную жизнь. Мы видим бессмертие в наших детях и внуках. Горный Алтай мы должны, обязаны сохранить для наших детей и внуков, для их безусловно бессмертного будущего.

Георгий КОНДАКОВ

ГОЛОС НАРОДА

(МАКСИМ ГОРЬКИЙ И КНИГА А. М. ТОПОРОВА
«КРЕСТЬЯНЕ О ПИСАТЕЛЯХ»)

Уникальная книга алтайского учителя Адриана Митрофановича Топорова «Крестьяне о писателях», выдержавшая несколько изданий, заинтересовала писателей, критиков, библиографов и читателей. Вокруг нее развернулась острая полемика. Поучительна позиция М. Горького в борьбе за А. Топорова и его детище.

Впервые материалы А. Топорова «Деревня в современной художественной литературе» печатались по просьбе Афанасия Коптелова в трех номерах за 1927 год в бийской газете «Звезда Алтая», потом опубликовались в толстом журнале «Сибирские огни» (1927, № 6; 1928, № 1).

Поддержал интереснейший опыт алтайского учителя и писатель Владимир Зазубрин:

«...После того, как работа пройдет в «Огнях», будем думать об отдельном ее издании. Надо заполнить от Вас отзывы на классиков. Это было бы чудесно. Ваша книга имела бы не меньшее значение, чем записи Софьи Федорченко — «Народ на войне».

В письме В. Зазубрин просил А. Топорова представить к январю 1928 года отзывы крестьян на книги А. А. Караваевой «Золотой ключ», Л. Н. Сеифуллиной «Перегной», на стихи Ивана Ерошина, Леонида Мартынова, Сергея Маркова, Нины Изонги, связанных своим творчеством с Алтаем и журналом «Сибирские огни».

В. Зазубрин отмечал, что работа, проделанная сельским учителем, «необычайно ценна», отзывы крестьян о художественной литературе прочитаны писателем «как самая увлекательная повесть или роман».

Еще до выхода книги деятельность А. Топорова, проводимая в алтайской коммуне «Майское утро», подвергалась жесточайшей и несправедливой критике со стороны левацких элементов в литературе, рассматривавших искусство и литературу с вульгарно-социологических позиций. В газетах «Советская Сибирь», «Литературная газета», журналах «Настоящее», «На литературном посту» появляется ряд критических статей, направленных против метода культурной работы А. Топорова. Громкие читки были запрещены, а сам А. Топоров в 1932 году вынужден был покинуть Алтай. Неужество, казалось бы, восторжествовало, но надолго ли?

В защиту метода А. Топорова выступили многие журналисты, писатели. В. Зазубрин, один из последовательных защитников культурного начинания, писал 24 июня 1929 года:

«Дорогой Адриан Митрофанович, в № 10 «Молодой гвардии» о Вас пишут, как о «герое советской коммуны». В этом журнале помещен очень хороший отзыв о выходящей на днях книге Вашей. Теперь Вам только остается вырезать эту рецензию, вырезать фельетон Аграновского, приложить все это к своей книге (скоро Вы ее получите) и отправить Максиму Горькому с сообщением, что в дальнейшем Вы лишены возможности заниматься этой читкой, т. к. Вам запрещают и т. д. Напишите, что некоторые газеты отказались напечатать отзывы Ваших коммунаров, как чересчур грамотные.

Максим Горький очень тепло отзывался о Вашей работе, и он несомненно в это дело вступится... Горький проживет в СССР до глубокой осени. Успеете.

...Говорят, что М. Горький собирается в Сибирь. Если приедет в Новосибирск — уговорю его съездить к Вам и послушать читку».

Явление культуры, не укладывающееся в обычные стереотипы, сопровождается чаще всего яростным сопротивлением невежд. Феномен Топорова вызвал недовольство некоторых людей, призванных по долгу службы заниматься культурным строительством на селе, некоторых журналистов и литераторов, пропагандирующих литературу факта, отрицающих художественное обобщение и стоящих на вульгарно-социологических позициях. Кулачество злобствовало особенно, ибо топоровские чтения раскрывали крестьянам глаза на истинные отношения в деревне, будили в слушателях чувства добра и справедливости, чувства подлинного гуманизма и интернационализма.

В выборе материала для чтения сказывались эстетические симпатии А. Топорова, но учитель никогда не навязывал слушателям свою точку зрения и не считал ее универсальной, всегда верной. Крестьянские суждения о литературе, подсказанные сердцем и умом, не идеализировались алтайским учителем, хотя к «общему мнению» он всегда делал свои примечания,

старался оставаться объективным, не искажая суждения крестьян.

«На наших глазах в годы революции вырос и расцвел поэт-самородок Алтай Илья Мухачев. Имя его все чаще и чаще стало попадаться на страницах сибирской печати. Сборник «Чуйский тракт» — первое отдельное издание стихов Мухачева. Стихи, в которых он воспевает несказанную красоту природы Алтая, «радость юрт и хижин», «теплый голос всех племен и рас», крестьяне считают жемчужинами поэзии. А на стихи из «Чуйского тракта», написанные на городские темы, коммунары смотрят, как на начало упадка творчества любимого поэта. В них они подозревают его отход от земли, от деревни, от животворного, чистого источника подлинной поэзии».

Работа А. Топорова была сопряжена с трудностями: восторг часто сменялся сомнениями, нужно ли все это людям: «...Потом смаковали прочитанное, и все чаще подмывало меня записывать отзывы крестьян, выраженные самоцветным языком».

Но обуревали сомнения: а ну-ка, кто-то и где-то уже давно и превосходно сделал это? К чему же мне после скобеля тяпать топором? Я отмахивался от соблазнительной мысли, но она нет-нет да возвращалась ко мне. Наконец решился, и, как ни странно, опыт крестьянской критики художественной литературы, начатый в сибирской глухомани в 20-х годах, оказался первым в стране. Да, по существу, и единственным.

Здесь не место говорить подробно о целях и методах опыта. Я шел по целине и, конечно, ошибался, спотыкался, расширял себе нос, но продолжал свой путь. Никогда я не утверждал, что мнение крестьян единственно верно. Не писал, что оно для писателей и критиков обязательно. Но полагал, что знать, учитывать это мнение полезно».

В 1930 году вышла книга «Крестьяне о писателях», которая была с одобрением встречена выдающимися деятелями культуры М. Горьким, Н. Рубакиным, В. Вересаевым...

Известный библиограф Николай Александрович Рубакин с восхищением писал А. Топорову: «...Ваша замечательная книга особенно ценна ее внутренней честностью. Потому она и особенно поучительна. Она откроет глаза многим и многим на настоящую роль и значение и на социальное назначение литературы».

Н. Рубакиным подмечено восторженное отношение и самих крестьян к А. Топорову: «С каждой страницы Вашей книги так и прет, так и сияет Ваша любовь к человеку, к читателю, да и их любовь и доверие к Вам просто-таки очаровывает».

М. Горький — любимый писатель А. Топорова. В своих воспоминаниях «Однажды и на всю жизнь» А. Топоров пишет о давних симпатиях к великому писателю: «Помню какой восторг зрителей вызвала пьеса Горького «На дне». Впервые они просили задержать в репертуаре спектакль, и он повторялся раз десять — это было очень много. Впервые вышли на сцену

оборванцы-босьяки, впервые мы слышали открытые слова протеста. В зале дежурили паряды полиции. Песня «Солнце всходит и заходит» приобрела в Барнауле широчайшую популярность».

Отношение крестьян к литературе, к писателям — отношение родителей к родным детям. Их литературные вкусы и суждения самостоятельны. А. Аграновский в статье «Генрих Гейне и Глафира» отмечал: «Не понравился как-то коммуне писатель М. Пришвин, ему вынесли суровый приговор. Когда крестьянами указали, что сам Горький хвалит Пришвина, они ответили:

— Ну, пускай ему Пришвин нравится. А вот нам сам Горький нравится, а Пришвин — нет...».

Максим Горький заинтересовался уникальным опытом А. М. Топорова. 17 марта 1928 года пролетарский писатель обратился к В. Зазубрину:

«Затем я очень прошу Вас пошлите мне Вашу книгу «Два мира»; интереснейшую беседу слушателей о ней я читал, захлебываясь от удовольствия».

Стенограмма выступлений крестьян о романе В. Зазубрина «Два мира» была опубликована в «Сибирских огнях» (1928, № 1).

Максим Горький советовал В. Зазубрину: «А стенограмму обязательно приложите. Она — прекрасное явление. И Вы можете гордиться ею».

Горьковское одобрение громких читок в алтайской коммуне «Майское утро» стало известно и А. Топорову: «Зазубрин тогда же сообщил мне о горьковских словах (в печати они появились позднее), и надо ли говорить, как они ободрили меня. Я продолжал работу, решился готовить книгу, придумал для нее название — «Крестьяне о писателях», но тут выяснилось, что есть у моего опыта и противники. Крикливые и тихие, мелкие и покрупней, очень безграмотные и не очень».

В травле А. Топорова, да и многих других одаренных литераторов, особенно усердствовал журнал «Настоящее», где не стеснялись самых вульгарных выражений в адрес людей, занимающихся подлинным искусством.

Обвинения А. Топорову предъявлялись самые суровые и одно нелепее другого: «Главные литературные претензии: мужикам нравится Сергей Есенин, а учитель, вместо того чтобы разоблачать этого поэта, пропагандирует его. Мало того: злобный учитель читает крестьянам «Песнь о Гайавате» Лонгфелло, да еще в переводе «белогвардейца» Бунина! Ату его! Политические обвинения: следовательно, эрэт самый Топоров — обыватель, народник, недобитый эсер, окопавшийся враг. Ярлык — «топоровщина», пущенный в этой статье, пошел гулять по страницам печати, попал даже в Сибирскую советскую энциклопедию».

А. Топоров и предполагать не мог, что вокруг его работы развернется такая полемика и что чистосердечное признание крестьянина-слушателя будет расцениваться как выражение взглядов самого чтеца.

Для сельского учителя было неожида-

ным известие, что Максим Горький одобрително отозвался об его опыте.

Максим Горький писал в предисловии к роману В. Зазубрина «Два мира»: «Эта книга была вся прочитана в Сибири... Суждения, собранные о ней, стенографически записаны и опубликованы в журнале «Сибирские огни». Это весьма ценные суждения, это подлинный «глас народа». И было бы в высокой степени полезно напечатать эту стенограмму в конце книги, как послесловие к ней, как эхо, мощно отозвавшееся на голос автора».

В. Зазубрин последовал совету М. Горького и опубликовал в романе материал А. Топорова как послесловие «Деревня о «Двух мирах».

М. Горький не только одним из первых поддержал книгу А. Топорова, но и пытался привлечь сельского учителя к участию в работе журналов. Адриан Митрофанович получает письмо-приглашение из редакции «Литературной учебы»:

«Уважаемый т. Топоров! Редактор нашего журнала Максим Горький, заинтересовавшись Вашими статьями о том, как и что читает современная деревня, просит Вас принять участие в работе «Литературной учебы».

А. Топоров начал готовить к печати вторую часть книги «Крестьяне о писателях». В. Зазубрин сообщал 27 января 1934 года, что дважды разговаривал с Горьким о новом издании книги: «В первый раз он одобрил идею ее издания вообще, во второй раз подошел к делу более конкретно (разбивка В. Зазубрина — Г. К.). Он требует, чтобы книга не только давала диалектологический материал, но и говорила о широте кругозора коммунаров. Он говорит, что 2-я книга будет им поддержана, если в нее Вы включите материал по разбору — Толстого Льва, Гете, Гейне, Ибсена и русских классиков».

К сожалению, А. Топоров был лишен возможности проводить читки с той же аудиторией, поэтому многие рекомендации Максима Горького не могли быть превращены в жизнь. Вторая часть книги не была осуществлена, хотя горьковские предложения в той или иной степени воплотились в последующих изданиях: включены высказывания крестьян о Пушкине, Блоке.

Иногда крестьянские оценки книг советских писателей совпадали с горьковским отношением: М. Горький с восторгом встретил роман молодого тогда еще писателя Ефима Пермитина «Капкан» об алтайских староверах-кержаках, считая, что «книжка неплохая, затеяна интересно». А. Топорову «критики-дубинники» запретили проводить какие-либо читки даже на квартирах коммунаров с двумя-тремя слушателями. Приходилось давать пермитинскую книгу для чтения на дому. Вскоре и такой способ пропаганды художественной литературы бдительным начальством коммуны был запрещен. О «Капкане» Топорову «под страхом большой кары» удалось «нелегально» записать три отзыва: «Редко такие писатели нынче попадают, которые бы так хорошо знали сибирскую де-

ревню, как Пермитин» (Носова А. С.); «Фраза у Пермитина не запутывается. Ох, и понравилась мне книга!» (Бочарова М. Т.); «У доброго человека, что бы он ни сказал, сразу хорошо и художественно выходит» (Шитиков Д. С.). Вот и М. Горький отмечал в письме к Е. Пермитину от 16 июня 1930 года: «... и язык у Вас есть свой».

Образ алтайского учителя А. М. Топорова нарисован в романе В. Зазубрина «Горы», о чем автор сообщал: «В № 12 «Нового мира» прочтите окончание первой книги «Гор». Там Вы без труда узнаете себя под именем Митрофана Ивановича. Я Вас увековечил. Во 2-й книге Вы будете (тоже) фигурировать».

В романе «Горы» учитель Митрофан Иванович знакомит коммуниста Безуглого со своей летописью о драматичном прошлом колхозного движения на Алтае, о том, какую он культурную работу проводил и проводит на селе: «Я записываю высказывания коммунаров о прочитанном и думаю издать их отдельной книгой. На обязательность нашей критики мы не претендуем, но будем просить советских писателей и с нами познакомиться».

М. Горький, знакомясь с зазубринским романом, поддержал автора «Гор», когда издатели предложили выбросить из произведения некоторые страницы, связанные с описанием острых моментов создания коммуны на Алтае. Подлинные факты были взяты писателем-сибиряком из дневника А. Топорова.

В феврале 1934 года В. Зазубрин общается А. Топорову:

«...Максим Горький выдвигает Вас одним из редакторов лит(ературно)-худ(ожественного) журнала для колхозников. На днях получите предложение — приехать в Москву для переговоров. Советую принять это предложение Ал(ексей) Макс(имович) очень Вас ценит и хочет с Вами познакомиться, (чтоб) Вам дать более широкое поле для продолжения Ваших занятий».

К сожалению, личная встреча А. Топорова с М. Горьким не состоялась: судьба распорядилась по-своему. Культурное дело, начатое учителем, загублено в самом начале «провинциальным самодурством», твердолобыми фразерами, которые не в состоянии понять, что эстетика, проповедуемая Топоровым среди коммунаров, становилась этикой подлинных строителей будущего.

Герман Титов, наш земляк, космонавт, сын коммунара Степана Титова, ученика А. Топорова, выработал в себе черты, за которые боролся алтайский учитель. Герман Степанович Титов с гордостью назвал себя «духовным внуком» Адриана Митрофановича. Нет ничего выше духовного родства людей!

Максим Горький, великий пролетарский писатель, прекрасно понимал, что голос народа нельзя заглушать циркулярами, он все равно прорвется сквозь толщу лет и снова зазвучит свежо и первозданно.

Павел ЗАБЕЛИН,
кандидат филологических наук

БЕГ АРГАМАКА...*

Лазарь Кокышев в стихотворении «Молодому поэту» сетовал:

И с болью подумаешь в зрелые годы
О том, что народ твой родной невелик,
Что как ты ни бейся, а без перевода
Немногие твой понимают язык.

Это перевод Ильи Фоянкова. Мысль передана точно. Переводчик не постеснялся этой неподделности поэта, не стал ее «подделывать». Поэт, однако, зря сетовал, что «родной народ невелик» и не ошибался, возлагая надежды на переводчика.

Лирика Горного Алтая, представленная в сборнике «Горы и звезды», знакомит нас со стремлением местных поэтов сохранить верность культуре народно-поэтического мышления. Читатель доверяется переводчику Илье Фоянкову, у которого двадцатилетний опыт работы по подстрочнику. Труд на общее благо, во имя идей Великого Октября, красота родимого Алтая, красота лучших человеческих чувств — сердцевина поэзии Аржана Адарова, Бронтоя Бедюрова, Александра Ередеева, Лазаря Кокышева, Эркемена Палкина, Паслея Самыка, Бориса Укачина.

Добрый гостем Алтая, как известно, был Николай Рубцов, одноклассник Бориса Укачина по студенческой скамье литературного института. Поэзии многое подвластно, но поэт по справедливости считает поэзии нет там, где «нет ни радости, ни горя». Идейность стихотворца должна быть очеловечена. Мир поэта — мир чувств и мыслей произвольных, высоких и земных, — это ощущение всего живого, всего сущего как самого себя, как части, как взаимосвязи всеобщего. Тайнодействие жизни, звучание еще незнакомых жизненных ритмов, мелодий, гармонии — что без того поэт? Критик Валерий Дементьев в очерке об Н. Рубцове «Предвечернее» (см. книгу «Исповедь земли», 1981) очень верно указал тютчевскую особенность поэта чувствовать «с каждой избою и с каждой тучею... самую смертную, самую жгучую» связь.

Я люблю любовью безграничной
Этот мир, где я в какой-то миг
Понял краткость жизни единичной,
Вечной жизни таинство постиг.

(Л. Кокышев. «Моя заря», с. 163)

* Горы и звезды. Лирика Горного Алтая в переводах Ильи Фоянкова. — Горно-Алтайское отделение Алтайского книжного издательства, 1982.

7 «Алтай» № 1

В цикле Бориса Укачина «Говорят алтайцы» это надо понимать как троп.

Одни лишь камни да сухие пни
Знать в мире не хотят своей родни.

(с. 305)

В стихотворении «Есть неведомая связь» Аржан Адаров думает о том ощущении целостно-гирродного первоначала, без которого человек не может быть человеком: «...есть с деревьями у нас таинственная связь».

Со мной беседуете вы,
И только пни молчат.

(с. 29)

Помня заветы Ленина, заветы предков, народные сказания, местные стихотворцы обогащают себя художественным опытом российской классики. Это братская признательность Лермонтову, Тютчеву, Фету («Дремлет мир под звездами большими», «Посещение» Бориса Укачина), советским поэтам В. Соколову («Его встречал я часто одного» Бронтоя Бедюрова), В. Луговскому («Памяти В. Луговского» Лазаря Кокышева). Это «Разговор с поэтом Леонидом Мартыновым» Паслея Самыка, «Письмо Николаю Рубцову» Бориса Укачина.

Естественная закономерность развития наших братских литератур — взаимообогащение, единство и многообразие, социализация чувств, мыслей в национально-самобытных формах. Сквозные патриотические темы, философские мотивы находят в сборнике авторское воплощение.

Сам переводчик указывает на остроту зрения Александра Ередеева, современные ритмы Паслея Самыка, широту кругозора Аржана Адарова, Бронтоя Бедюрова, Бориса Укачина, живописность Лазаря Кокышева, истую приверженность Эркемена Палкина пастушеским стоянкам, извечной новизне жизни в горах. Авторы «Гор и звезд», наверное, закономерно выстроились в алфавитном порядке. Аржан Адаров «в пути, как факел, поднимает Слово», обращенное ко Времени, заповедному трудовому краю:

Звени, кому! Пой, сердце! Пой, Алтай!
Во имя Братства, Радости и Мира.

(с. 20)

Поэту подвластны непосредственность лирического обращения («Ночью птицы глу-

хо кричат», «Слышишь, друг?», «Давно ли, мой друг...»), большая злободневность («Художник и революция»), тревоги старшего горца за судьбы своей семейной профессии, непростые жизненные пути детей (поэма «Думы чабана»). Аржан Адаров может радоваться, философски грустить, приглашать читателя к размышлению. Когда отмечалось пятидесятилетие поэта, Илья Фояков писал о нем прежде всего как о публицисте. Это, конечно, не главное украшение поэта.

Бронтой Бедюров стремится углубить своего старшего собрата: традиционные народно-алтайские мотивы соприкасаются с веяниями времени, заветы батыров с нравами потомков, фольклорная стихия с философией, современной поэтикой, художественной мыслью («Да буду я глазами для слепого...», «Песнь о бегущих девушках», «Потомки»). Поэт думает о восточной емкости стиха.

Мы сговорились опыт свой земной
Соизмерять не с прошлым, а грядущим.

(с. 91)

Бронтой Бедюров с ласковой, иногда острой улыбкой смотрит в этот огромный, прекрасный, ясный мир. Он утверждает право поэта запечатлеть мимолетное. Он хотел бы избавиться от кое-каких традиционных мотивов, представлений. Но, может быть, поэт излишне любит «спокойное лицо стихотворенья» (Н. Заболоцкий)? «Прекрасный и добрый Алтай», кажется, слишком риторичен, когда вопрошает, «с чего появились в немалом числе эти грубые красные, пьяные лица?».

Александр Ередеев детски непосредствен, у него дар вдруг заметить в обыкновенном чудесное, вечно живое, повторяющееся, каждый раз новое («Годы», «Капельки», «Запах солнца», «Гламечко», «Любопытный ветерок»). Чистота впечатлений, стремление говорить его законченностью позволяют нам предположить будущие удачи поэта как автора для детей. Отметим стремление А. Ередеева «к сестре таланта» — краткости, завершенности, чем местные поэты не всегда могут похвалиться.

И в обнимку смело — прыг!
«Неужели не живые
Эти капли дождевые?» —
Я подумал в этот миг.

(«Капельки», с. 118)

На Алтае рек много. Но как-то повелось со времен, еще доишховских, петр-вспоминать про Катунь, про Чую. Есть другие речки, более стремительные, прозрачные, говорливые — сплошные пороги среди ивушек, елей, берез: Сема, Урсун, Ильгумен. С ними, с их стремительностью мы бы могли сравнить стихи Лазаря Кокышева. В сборнике помещен цикл из тридцати его стихотворений «Мне звезды выдают свои секреты». Да, он слышал их музыку. Однако поэт больше говорил не со светилами. Он не очень заботился об идеальных формах, об отточенности. Он несколько лохмат. Он торопился по-есенински высказаться о «диве жизни» («Диво

жизни»), чьи упрямы законы — законы поэзии, живого, сущего, вечной новизны; о тайге алтайской, о лугах альпийских, об осени, о таежном селе, о зимней дороге, о море, о вокзале, когда поэтическое может заслониться техническим, броским. Народу своему он хотел сообщить органичность поэтического самовыражения.

Сквозной образ произведения Л. Кокышева, алтайской поэзии — бег! Бег Аргамак, алтайского Пегаса. Он варьируется у Бориса Укачина — символ неостановимости исторического времени, непрерывного бешеного ускорения века. Алтайский Пегас — Аргамак — сродни грузинскому («Мерани» Н. Бараташвили). Это и романтический образ, и драматический порыв к идеалу, грядущему. Лазарь Кокышев добивается естественности слитка «чувствующей мысли».

Зовет меня сквозь мрак
Веков неисчислимых
Мой верный аргамак.

И вот мы доскакали!
Но остановки нет:
Грядущее зовет нас,
Необоримый свет.

(«Аргамак», с. 181—182)

Пегас — Аргамак, однако, и спотыкается временами.

В этом всегда повинен всадник.

В произведениях местных авторов нередко проглядывает «командировка»: поэт — добрый гость в родных горах, добрый приезжий в аиле, откуда родом. Чем приметна наша сибирская, всесоюзная проза о сельских жителях? Она написана самими сельчанами, их душой, характером. Облик автора, облик повествователя и облик героя у В. Белова, В. Шукшина, В. Распутина, В. Личугина сливаются в первоначальное единое, нераздельное. Так на свой лад умеет говорить Борис Укачин. Его пастухи, табунщики, горцы произносят свои монологи, живут своими и извечными делами, думами, стариной, обычаями предков, верованиями, легендами, — они освящают свою жизнь народной моралью. Это искусство. Это объединяет, роднит такие произведения, как «Бег аргамака», «Путь язычника-алтайца», «Малые народы», «Соль», «Слово о людях рабской крови», «Кюс-кюс», «Благопожелания огню», «Заклинание медвежьей головы», «Проклятье врагу», «Молитва, обращенная к топшуру», «Монолог табунщика Яжная перед тем, как зарезать овцу». Романтический аргамак Лазаря Кокышева скачет через историю отечественную. Аргамак Бориса Укачина — огненный конь отца, ушедшего на войну. Поэтический символ становится близким, частью твоего земного бытия, жизни табунщика.

Эту коновязь, помню, поставил отец.
И печаль наполняет всю душу мою.
Прорезают ракеты космический мрак.
И машины режут на дорогах земных.
Но диктует мне ритм, аргамак, аргамак,
Стук подков благородных твоих!

(«Бег аргамака», с. 68)

В цикле Бориса Укачина торжествуют святость народных обычаев, вековая мудрость, слог кайчи («Говорят алтайцы», «Благопожелание», «Диалоги»).

Людей на свете — без числа, без счета!
А иногда покажется: всего-то
Четыре человека под луной —
Дурак и умный,
Трезвый и хмельной.

(«Говорят алтайцы», с. 303)

Эркемен Палкин исполнен желания быть как можно ближе к алтайцу-труженику, народно-положительному герою с руками творца, сердцем кайчи («Октябрь», «Письмо Ленину», «Живем, чтобы работать», «Чабан», «Красавица»). Не чурается поэт публицистических проблем с точки зрения чабана («Снег и телевизор»): природа Алтая требует бережного отношения.

Это утро осеннее учит меня.
Неприкрашенной правде и ясности строгой...
Пожелайте ж мне счастья, обид не храня,
Перед новым трудом, перед новой
дорогой!

(с. 226)

В то же время, отметим, это четверостишие несет на себе и общий, малокрасящий отпечаток в местной поэзии.

Своя манера общения с аудиторией у Паслея Самыка. Это ритм монологов, обращений к самому себе, Алтаю, юному алтайцу, ритм свободного разговорного стиха Уйтмена, Пабло Неруды, Назыма Хикмета с неожиданной рифмовкой. Поэт также улыбочив, ироничен. Его баллада «Что бы было, если бы Демон женился на Тамаре» добродушна по тону, язвительна по усмешке: стихия быта, стандарта, губительна для юношеских порывов, без духовных идеалов юности — человек не человек. Паслей Самык склонен к лексическому обесцениванию местной поэтической речи. Переводчик сумел это передать.

Пусть и сынам, когда черед ударит,
алтайчество, как отчество, подарит,
пусть и они впитают сердца глущью
народознание и отчизнолюбие!

(«Сыну Эркину» —
стихи с неологизмами, с. 255)

Сборник «Горы и звезды» ценен. Это, можно сказать, карманное собрание сочинений местных стихотворцев. Общая идейно-художественная оценка не должна быть в таком случае уклончивой, уступчивой. Вспомним статью Н. Чернышевского: «Об искренности в критике». Вспомним: «...если нет ни радости, ни горя!»

Нынешняя алтайская поэзия, при определенной авторской оригинальности, бедновата по сюжетным мотивам, скучновата, чурается пронзительности, подлинного откровения, страдает многословием, лобовым преподнесением темы. Извечный мотив «песни», «зари», «звезд», к примеру, требует обновления, вариаций. Соблюдая народно-сказовые традиции, наверное, не следует из творения в творение твердить о том, как все на свете поет на Алтае: горы, ле-

са, ручьи, водопады, луна, девушки, джигиты, кони, айлы. Водопады восторгов, восклицаний, обращений становятся однообразными и не всегда могут говорить о полноте чувств. Можно представить целую социологию. У Аржана Адарова: «Моя песнь», «Горная речка» (поэт, шепчет), «Звени, комусл», «Пой, сердце! Пой, Алтай!», «Пой, певец, не умолкая», «Могучая песнь», «Песня возникает на земле», «Огни», «И песни, что когда-то здесь мы пели», «Там звезды нас, пленительно моргая...», «Где с вами я некогда песни певал» и т. д. У Бронтоя Бедюрва: «Песнь о бегущих девушках», «Песнь прощания с морем» (слава богу, не так густо). У Александра Ередеева: «Алтайский поэт с топшуром поет», «Подумала... запела, за ней другие запели» и т. д. У Лазаря Кокышева: «Деревья кивнули: — Споём!», «Моя заря», «Тихо звезды играют», «По кругу с песней», «О чем во сне душа твоя поет». Эркемен Палкин, Паслей Самык как-то умудрились обойтись без «песни» и «звезд».

«Песни», «звезды» Бориса Укачина менее общи, более определенны (монологи, благопожелания народно-языческого характера).

Песня есть песня. Она всегда предметна, повествовательна. Это опредмеченное лирическое переживание, воспоминание, органичность самовыражения чувства. Непрерывные одушевления, восклицания не могут передать всю полноту радости, счастья, грусти. Обращения к Алтаю, родной земле часто носят «лицо, общее выраженьем». Бронтой Бедюрва: «Как прекрасен и доброй мой Алтай!». Аржан Адаров: «Мы повторяем, что она прекрасна — деревья, горы, солнце, облака!»; «Могуч Алтай — высокая земля!». Александр Ередеев: «Дивен Алтай мой такими ночами». Паслей Самык: «Сверстник мира — Алтай, древний-древний, любимый, хороший!»

Не время ли, дорогие поэты, отказаться от общих слов, общих обращений, от многословных восклицаний? Разве в том суть народного легендарного слога? Истинная красота Алтая — в реальности его природы, людских судеб. Сколько былей порождает каждодневно Чуйский тракт, половичком перехлестнувший Горный Алтай! Разве кончились чуйские были после Вячеслава Шинкова? Живая алтайская явь — красота гражданственных чувств пастуха, рабочего, драматическая поэзия и проза людских конфликтов, высокая радость и высокая боль за человека, за судьбы родной земли и всей земли нашей. Где подлинность переживаний, размышлений чабана, водителя, мараловода, рабочих, лесников, каждый из которых по-современному осмысливает свой труд? Мир алтайских поэтов несколько сужен, общ, традиционен. Есть журналистская наблюдательность, но не хватает выразительности, которая немислима без поиска свежих тем, мотивов, без материалоемкости формы, мы бы сказали. Это прежде всего отказ от информативности, от путевых построений и пересказов. Это новизна сюжетов, сжатость повествования, слога, соответствие жанру. Сборник именуется «Лирика Горного Алтая», а много ли в нем

чисто лирических произведений? На инерции описательности, смещении жанров возникает многословие, речь не художественная, а риторическая, объяснительная. Примеров достаточно. «Осеннее утро» Эркемена Палкина, строчки из которого мы приводили, и другие.

В трех четверостишиях Бронтой Бедюров описывает прилет серебристых птиц в Горно-Алтайск, свое приветствие родному маленькому городу, чтобы изумиться первому встречному — полупьяному. Мало изумиться, задать вопрос. Поэзия еще должна исследовать, исследовать не риторически, не прозаически. Описательность, многословие, прозаизм, обнаженное преподнесение мысли, свойственны «Стрижке овец» А. Ередеева. «Весенней ночи», «Вокзалу» Л. Кокышева, «Горной речке» А. Адарова, «Чабану» Э. Палкина, «Малым народам» Б. Укачина, стихотворению П. Самыка «На Кадринском перевале». Вряд ли стоит сетовать на переводчика. Он работал по подстрочнику. Переводы Ильи Фоянкова дают представление о националь-

ном колорите, о тематике, авторском своеобразии, возможно, в ущерб форме, благозвучию.

Постановление ЦК КПСС «О творческих связях литературно-художественных журналов с практикой коммунистического строительства» зовет нас к глубокому отражению сложного духовного мира советского человека, к активному влиянию на него. Об этом поучительно напоминает редактор журнала «Дружба народов» Сергей Баруздин в статье «Высокое призвание литературы» («Советская Россия», 10 августа 1982 года).

Лирикам Горного Алтая многое по перу. Им есть у кого учиться. Они видят, знают своего героя. Точка отсчета проверена — народно-поэтическая. Лицо Родины, лик Алтая требует пристального взгляда.

Аргамак под седлом стоит у крыльца.
Аргамак любит доброго, умного,
строного всадника.
Ногу в стремя, певец!
Бег Аргамака — путь к людям, к поэзии.

Виктор ИЛЬИН

ВОЗВРАЩЕНИЕ К САМОМУ СЕБЕ

Не знаю, кем сказано, но помнится с давних пор: кто плавает на торговых и военных судах — моряки, а те, кто на рыболовных, — моряки дважды. Не берусь спорить, насколько верно это утверждение, но ведь замечено — пусть говорят, зря не скажут. Во всяком случае, прочитав новую книгу Виктора Слипенчука «За мысом Поворотным» (Алтайское книжное издательство), я еще раз испытал чувство глубочайшего уважения к нелегкому и благородному труду рыбаков океанического лова.

Автор книги, о которой идет речь, не журналист, отправившийся в рейс по заданию редакции, а человек, который по штатному расписанию занимает в экипаже должность первого помощника капитана — современного траулера. Поэтому книга приобретает убедительность документа, ибо автор в силу служебного положения знает о каждом члене судового коллектива едва ли не больше, чем тот знает о себе. Разумеется, в искусстве важен не документ, а то, что к объективности повествования добавляется несомненная творческая одаренность автора книги. К тому же В. Слипенчук не только моряк по складу своего характера и служебному положению, он профессионально зрелый литератор. Он не просто описывает события одного рейса, он анализирует, размышляет, ненавязчиво, исподволь втягивает в мир рыбаков и нас, читателей. И мы с неослабевающим интересом следим за различными сторонами их жизни.

«У всякого, кто серьезно связан с морем, две жизни, — пишет В. Слипенчук. — Одна — на суше, другая — на воде. Жизнь настолько несхожи, что и в памяти отлагаются отдельно, самостоятельно. В пла-

вании сухопутная жизнь отодвигается как бы в область снов и вспоминается, точно сон, отрывочно, эпизодами, без видимой связи с реальным. Зато какой-нибудь случай трехлетней давности, происшедший на палубе судна, настолько зрим, что, кажется, его можно потрогать, как нечто вещественное.

...Одна жизнь выпадает из другой. Тому, кто не прочувствовал этого, не понять души рыбака океанического лова, его волнений перед уходом в плавание и возвращением на землю. Это уход и возвращение из одной жизни в другую. Это уход и возвращение самого себя к самому себе...»

Есть в книге запоминающиеся сцены труда рыбаков, живописные зарисовки экзотических городов, в названиях которых аромат легенд и свет мечты. Автор обладает зорким глазом и чутким слухом: он умеет передать красоту и мощь океана, говор отливной волны и скрип якорной цепи на стоянке в «бананово-лимонном Сингапуре». Это составляет необходимый фон, на котором разворачивается действие, передает атмосферу жизни рыбаков супертраулера. Вместе с тем в книге Виктора Слипенчука есть то особенное, что позволяет говорить о ней как о произведении самобытном в нашей маринистской литературе.

Книга В. Слипенчука показывает, как и за счет каких нравственных резервов и сил выживают советские рыбаки, люди отнюдь не сочиненные, а реальные. И к этому следует добавить, что исследование жизни реально существующих людей художественными средствами — один из труднейших путей, который волен выбирать литератор. Виктор Слипенчук выбрал именно этот путь, и он привел его к успеху.

Геннадий ДАВЫДОВ

ДУМАЙ, ПЕТРОВИЧ!

С час стоял Петрович около моего станка. Ему что — мастер, где хочет там и стоит. Только мне приятного мало, когда гипнотизируют.

После обеда опять подошел.

— Как по-твоему, Кашкин, если вот здесь такое приспособление сделать, — и рукой показывает, — то, пожалуй, деталь вытачивать удобнее и быстрее можно?

— Подумать надо, — отвечаю.

— Ты думай, Кашкин, а я пойду чертежик набросаю.

К концу смены подходит с листком ватмана.

— Тут я, Кашкин, расчет кое-какой сделал. Твое мнение?

— Подумать надо, — отвечаю.

— Ну ты думай, Кашкин, а я слесарям заказ сделаю.

На другой день приспособление уже было установлено на моем станке, и Петрович испытание проводил.

— Экономия, — говорит, — в среднем семь минут на деталь. Вот уже с десятков за три часа выточил. За смену-то сколько сделаешь?

— Подумать надо.

— Давай, думай, — засуетился Петрович, — я к начальнику цеха схожу, чертежик покажу, сюда приведу, пусть воочию убедится.

Вытачиваю себе детали, семь или сколько минут экономии — не знаю, а чую, что работа веселее пошла. Вижу, Петрович начальника цеха к моему станку ведет.

Постоял, посмотрел начальник, потом пожал мне руку и сказал: «Молодец, Кашкин, творческий ты токарь, с хозяйственным подходом. За конструкторами схожу, пусть они посмотрят, что наши простые труженики могут».

— Ваше дело, — отвечаю, сам знай работаю. Уже полторы нормы сделал, когда начальник цеха с кем-то из конструкторского бюро пожаловал.

— Это и есть наш Кашкин, творческая душа и светлая голова. Придумано просто, а экономия во времени значительная.

Не знаю, как там экономисты подсчитывали экономию, но получил я за это предложение приличную сумму. Думал уже палас покупать, только два дня вокруг моего станка опять Петрович ходит. Точу детали, подмигну ему, мол, думай, Петрович, пора и на ковер замахнуться.

ТА ЕЩЕ ДЕВУШКА

Подходит ко мне на остановке девушка и говорит, ничуть не смущаясь:

— Кажется, где-то мы виделись?

Смекнул я, что познакомиться хочет, потом и замуж потребует

взять. «Ишь, какая, — думаю, — сама навязывается». И отрубил ей, в рамках приличия, конечно.

— Возможно и виделись, но это еще не повод для знакомства. Мало ли на улицах народу ходит. Нехорошо подходить девушке к молодому человеку. И вообще я на улице не знакомлюсь.

Поникла она головой, отошла. Мне ее даже жалко стало. Из себя симпатичная, глаза особенно хороши, а поди ж ты какая!

Через несколько дней замечаю — за мной следом идет, я было засомневался, подождал. Точно, она. За несколько метров улыбаться начала. И улыбка такая радостная, к лицу ей.

— Здравствуйте, — говорит, — не подумайте что-нибудь плохое. Можно я вас провожу до дома?

«Вот думаю, какая. Из себя ничего, можно сказать красивая, а почти на шею вешается. Проводит раз, другой до дома, потом попросит с родными познакомиться. Мама говорила, что с такими лучше не связываться». Сказал ей вежливо: «Разве можно так себя вести. Где ваша девичья гордость?»

Отвернулась она, к стенке дома прижалась, плечики вздрагивают, плачет. Видно, стыдно стало. Будет знать, как к незнакомым молодым людям приставать.

Думал, что все, отстала. Как бы не так. Через два дня из дома выхожу, а она тут как тут. С букетом цветов ждет.

— Извините, — смущенно так говорит, — не подумайте обо мне что-нибудь плохое. Это вам. — И, сунув мне букет, побежала.

Еле догнал. Букет возвращаю со словами: «Мы с вами не в тех отношениях, чтобы цветы друг другу дарить». — И удаляюсь.

А через неделю опять встреча.

— Привет, — говорит радостно, как будто месяц не виделись, — ты не очень обиделся в тот раз? У меня два билета в театр есть, ходим?

«Опять пристала, — думаю, — теперь с театром. И что ей от меня надо?» И решительно сказал: «Я со случайными знакомыми в театр не хожу. Не стыдно вам приставать?»

— Стыдно, — отвечает, — очень стыдно. С собой ничего поделать не могу. Люблю я тебя, понимаешь, люблю.

А сама норовит под машину броситься. Знаем мы такой номер из литературы.

— Мне никаких доказательств не надо.

Назавтра пришлось с ней в театр сходить, а там и жениться. Что еще оставалось делать.

Вот сейчас сидит, внукам рассказывает о любви своей, те не верят. Хотя, что особенного.

НАШ КАДР

— Можно к вам? — в кабинет отдела кадров просовывается круглая физиономия с такими же круглыми глазами. — Здравствуйте, Максим Петрович!

— Васильев! Опять к нам пожаловал. Ушел, значит, с механического? И в ЖКО уже успел поработать. Ну, давай трудовую. У тебя вкладышей — прямо полное собрание сочинений. Классик. Что на механическом не поработалось, тьфу, в ЖКО?

— Потянуло в родной коллектив, — физиономия Васильева стала от улыбки еще круглее.

— Подожди, Васильев, давай разберемся с самого начала. Вот ты пришел к нам после окончания ПТУ с дипломом сварщика.

- Точно так.
- Сам вижу, что точно. В трудовой записи имеется моей рукой.
- Увольняешься через два года.
- Правильно. Женился.
- А какая связь?
- Самая прямая, Максим Петрович. Квартира нужна была.
- Мы же тебе малосемейку дали.
- Совершенно верно. Вы малосемейку, а на моторном квартиру обещали. И дали.
- Так что же ты с механического уволился и — на химический?
- Расширение, Максим Петрович, расширение.
- Расширился, значит, на химическом, и опять к нам. Хотя нет, полгода на кузнечном проработал.
- Ясли.
- Что ясли?
- Сына в ясли устроил на кузнечном и вернулся к вам, в родной коллектив.
- Через год уходишь из родного коллектива в ЖБИ.
- Там разряд легче получить.
- Вижу, получил разряд и опять на механический. Что же ты нас обошел?
- Садоводство, Максим Петрович, ближе.
- Да, наше на две остановки дальше. Итак, получил дачный участок и к нам. Зачем к нам? Родной коллектив, говоришь? Что же ты из родного коллектива через год опять махнул на... кирпичный завод?
- Строить дачу начал. Кирпич нужен был.
- Вот теперь начинаю понимать. Кирпич достал и через шесть месяцев на... «Вахтер в общежитии № 2». Что это тебя в вахтеры потянуло?
- Строиться начал. Время нужно. Там день работаешь, три — дома. Вот потихоньку за лето дачу сложил.
- Строительное управление. Вникаю. Окна, рамы, половые доски?
- Точно так, Максим Петрович, как вы все хорошо понимаете. Под ключ жене дачу сдал с оценкой «хорошо».
- А из строительного управления тебя романтика дальних дорог потянула. Автотранспортное предприятие. Курсы водителей закончил, шофер третьего класса.
- Машину покупать надумал. Так курсы платные, а от предприятия еще тебе стипендия идет. Потом дальше писано, что на машине годик работал. Так это опыта набирался.
- Вижу, опыта набрался и опять к нам сварщиком. За машиной, что ли?
- Как вы, Максим Петрович, все хорошо понимаете. Точно, за машиной.
- Через два года уходишь. Не дали мы, что ли?
- Почему не дали, дали. Строго по очереди.
- Купил машину и прощай, родной коллектив. Ушел в ЖКО.
- А где машину ставить? В ЖКО обтерся и место под гараж выбил.
- Так зачем опять к нам?
- В родной коллектив потянуло. На гараж-то железа листового надо.
- Кому бы отказали, а ты — наш кадр. Ну что ж, бери направление в цех. Вливайся в родной коллектив.

РАЗРЯД ЗА СЛОВО

Я пришёл на завод, как все, через отдел кадров. Поставили к конвейеру, показали, рассказали и давай, мол. Пайка двух диодов в монтажной схеме. Я и давал. В общем, справлялся. Подходит как-то ко мне Васильев; он на следующей операции стоит, и жалуется:

— С бригадиром разговор имел. Опоздал на пять минут, так он минут десять отчитывал. На себя кивал. Я, мол, не опаздываю. Да ему по штату положено за десять минут появляться. А то мы уже на рабочих местах, а он, как шальной, по цеху бегает. Заболевшего заменить надо, диоды, конденсаторы подвезти. Нас дергает и сам запаренным до обеда мечется. Вот ты молодой, возьми и выступи на собрании. Бригадир, мол, с нас требует, а сам... Если я выступлю, то могут сказать, что счёты с ним своёжу за опоздания.

Попросил я слово на цеховом собрании и выдал:

— Есть у нас такие, как Васильев, которые и опоздать могут. А бригадир раньше ни на минуту не придет. Потом нас дергает и рабочее время вхолостую идет. Некоторые вопросы он должен решать до смены.

Сзади ободряющие голоса слышу. Бригадир в пол смотрит и нервно руки потирает. Мастер строго говорит: «Поставим бригадиру на вид».

На другой день мне разряд повысили. Бригадир руку пожал:

— Выступил правильно, по делу, как и подобает рабочему классу, гегемону. Только мелко копаешь. Наш мастер в цех племянницу устроил. Эта семейственность на производстве сказывается. Свое рабочее место она плохо убирает, хотел я ее премии лишить, а мастер не дал. Ты бы выступил и сказал ей как рабочий человек рабочему человеку, что так делать нехорошо. Пусть бы мастер подумал о такой семейственности.

Сказал я на собрании более коротко:

— Мельникова плохо следит за своим рабочим местом, а мастер ее покрывает, так как ему племянницей приходится.

Мастер в окно смотрит, а начальник смены говорит: «Разберемся».

После этого с бригадиром на «ты» перешел, мастер мне первый руку протягивает, разряд повысили, на более сложную операцию поставили, квартиру пообещали.

Иду через проходную, мастер идет, вместе пошли.

— Смелый ты, — говорит мастер, — как и подобает рабочему человеку, некоторые не то что выступить с критикой начальства, даже с глазу на глаз ничего не скажут, все за спиной. А ты правду говорить можешь, значит, о производстве душа болит. На твоё выступление я обиды не держу. Все правильно, родственные чувства сказались. Теперь племянница в другом цехе работает, свое рабочее место чище, чем дома кухню убирает. Я хоть и мастер, а к критике положительно отношусь. Не так, как некоторые. Вот наш начальник цеха себе квартиру хапанул, все знают и все молчат. Выделил завод цеху одну квартиру, а он ее себе. Что же получается, коль начальник цеха — так все можно? Секешь?

Дождался я заводского собрания и выложил все, что думаю по этому поводу. Тишина стояла. Потом кто-то неуверенно крикнул: «Правильно». Мастер, одобряя, мне головой кивает, начальник цеха что-то на бумаге пишет, директор завода прямо заявил: «На заводской комитет. Подключить профсоюз и разобраться».

После этого начальник цеха мне разряд повысил, премию дал как за внедрение новой техники.

Подошел как-то начальник цеха, о жизни поговорил и как бы между прочим:

— Для меня слово рабочего больше значит, чем, допустим, директора. На таких, как ты, наш завод держится. Вовремя ты меня одернул. Если каждый начальник будет только о себе думать, что тогда будет? Вот то-то и оно. Наш директор машину государственную разбил, не сам, правда, сын. А ремонт за счет завода. Мотай на ус. Да, бригадир скоро на пенсию пойдет, будем тебя рекомендовать. Молодой, инициативный.

Вот теперь жду собрания. Выступить надо, разряд получить, как бы еще раньше бригадир на пенсию не ушел.

РЕТРО

Зашел как-то раз к нам со старухой директор клуба Ленька Павлов. — Выручай, — говорит, — дядя Петя. Тулуп нужен. По словам моей бабки, у тебя был. На сцене старые времена показывать будем. Пусть твой тулуп искусству послужит, а я вас бесплатно в клуб пропущу.

Отдал я ему тулуп. Жалко, что ли. Все равно какой год висел в сенках, пыль собирал. Пусть искусству послужит. Тут приезжает внук из города. Культурный парень, десятый класс кончает, почти на одни «четверки». Спрашивает про иконки.

— Какие иконки, — удивляюсь я, — твой отец по молодости лет со стены их снял, сказал, что пережиток. Старуха одну в сундук положила. По праздникам вынимает и молится.

— Сейчас новая тенденция началась, — внук мне объясняет. — «Ретро» называется, значит возврат к старине.

Почти ничего я не понял про это самое «ретро».

— Не понять, — говорю ему, — стар стал. Старухе расскажи, она все ж на два года моложе.

Не знаю о чем они говорили, только увез внук «богородицу» в город. Старуха сама себя успокаивала: «Куплю картинку в магазине и на нее молиться буду. Главное, чтобы вера была». Бормочет так, по хате ходит, а тут шаги в сенках, сын заходит и не один, с женой. Ну, радости нам со старухой было, на целых два дня приехали.

Сели за стол по-семейному. Невестка ест да нахваливает.

— Помидорки просто сахарные, а огурчики малосольные совсем объедение.

Старухе, конечно, лестно такое слушать, по правде сказать, помидоры как помидоры, в огороде все такие. Огурчики ничего. Старуха моя, считай, их всю жизнь солила, пора научиться...

Потом полезла моя старуха в сундук невестке свое добро показывать. Та только ахает.

— Теперь такой ситец ни за какие деньги не купишь. Легонький, мягонький, прямо на ночную рубашку, и расцветкой светленький.

Отдала старуха ей отрез ситца, у нее в сундуке их несчитанно лежит. Сын все лавку гладит и улыбается так, как будто тайну имеет.

Представить только, я на этой лавке спал. Умещался и жестко не было. Тулуп под себя стелешь, другой полой укрываешься и утром не поднять.

— Трудно поверить в такое, — удивилась невестка, рассматривая подаренные ей вязаные носки, — сейчас на мягком диване пока уснешь, изворочаешься весь. То жестко, то мягко.

— Возьму-ка я лавку в город, напротив телевизора поставлю, когда и полежу, детство вспомню.

— Клуб, что ли, из квартиры решил сделать, — невестка явно не одобряла решение сына.

— Даже врачи, говорили, на жестком спать полезнее, — стоял на своем сын. Он у меня упрямый, в старуху удался, короче, увез лавку.

Через неделю опять в гости приехали. Мы со старухой только рады. Внук в клуб пошел, дело молодое. Невестка со старухой опять в сундук полезли, а мы с сыном разговор о жизни ведем. Он мне про план на заводе рассказывает, который всегда горит и приходится тушить хором в конце месяца. Я ему про свои заботы. Сенки перекрывать надо, плетень, опять же, заваливается.

— Поправим и сына помогать заставим. Пусть привыкает к мужской работе. Жена его маленьким приучила за собой тарелку мыть, теперь я этого не делает. Шкаф хорош, — кивает сын на шкаф, который я сделал, когда он еще под стол пешком ходил. — Не стареет.

— Что ему стареть, дерево — не человек, дольше живет. Даже рисунок сохранился. Резьбу целое лето выводил.

— Отдал бы мне его под книжный шкаф. В магазине не то. Ишь рисунок какой, а резьба..

— А в чем я буду посуду хранить, — услышала нас старуха, — вон у меня ее сколько. — Открыла она нижнюю дверцу. — Праздничная. Несколько раз только на столе стояла.

Невестка руками всплеснула.

— Такой фарфор в комиссионке страшные деньги стоит. Продай, мама, сервиз?

Старуха растаяла, в первый раз невестка ее мамой назвала.

— Какой там продай, берите коль надо. Нам-то по-стариковски ни к чему. С железных тарелок поедим. Разве только на похороны накрыть бы пришлось одному из нас, — старуха, вспомнив про смерть, всплакнула, но невестка ее быстро успокоила, попросила показать, как с прялкой обращаться надо.

Уехали они со шкафом и прялку увезли. По словам невестки прясть лекарственно, нервы успокаивает. Пусть лечится.

Долго их не было, неделе две, пожалуй. За это время племянник приезжал погостить. Топор у меня увез и другой инструмент старой закалки. Обещал магазинный привезти. Правда за это время я успел стол новый сколотить. Старуха заставила, сказала, что сын может старый забрать, мол, смотрел на него. Стол и новый ничего получился, тоже ножки резные, прожилочки замысловатые.

— Ты не намекай про стол. Коль сам спросит, тогда другое дело. А то все отдадим и больше они к нам и не появятся. Пока «ретро» это самое идет — и навешают. Я уже иконку у Степаниды для внука выпросила, а с Настасией о шерсти договорилась. Буду невестку вязать учить. Соседи-то все говорят, мол, сын у вас какой. Считаю каждую неделю приезжает, не забывает стариков, как некоторые.

По приезде сын про стол не заговаривал, бревна дома задумчиво поглаживал.

Владимир СВИНЦОВ

Из пункта «А» в пункт «В»...

СКАЗКА



I.

Однажды, в начале лета, из пункта «А» в пункт «В» перевозили зоопарк. Автомобили, натужно ревя моторами, везли железные клетки с пантерами и оленями, с удавами и крокодилами, с кенгуру и муравьями, с обезьянами и гиенами, с павлинами и леопардами, со скунсами и выдрами, с броненосцами и антилопами... Отдельно, на больших-больших автомобильных платформах, ехали слоны и бегемоты.

Шли по дороге машины и ревели глухо:

— Уры-ы-ы!

А клетки:

— Скри-и-ип! Скри-и-ип!

Перепуганные звери попрятались в укромные уголки клеток, сидят, молчат, дрожат. И только бесстрашный Тигр, большой и полосатый, ревел громко и почему-то икал:

— Ры-у-у-у! — ревел он. — Ык! Ры-у-у-у! Ык!

— Уры-ы-ы! — ревели автомашины.

— Скри-и-ип! — скрипели клетки.

— Ры-у-у-у! — ревел Тигр. — Ык!

Дорога спустилась под горку, а под горкой ручеек. А через ручеек — мосток. А перед мостком — ямка...

Первая машина на ямке — скок!

— У-урах! — взревела машина.

— Скр-и-ип! Трах! — стукнулись друг о дружку клетки на ней.

Вторая машина — скок на ямке!

— У-урах!

— Скр-ип! Трах!

А ямка больше стала.

Третья машина:

— У-урах!

— Скр-и-ип! Трах!

А ямка уже и не ямка, а яма...

Последняя машина на ямине:

— У-у-ур-рррах! Трах! Бабах! Скр-ррр! — и дверь одной из клеток открылась. А из нее зверь с гривой лохматой ка-ак выскочит, ка-ак прыгнет через придорожную канаву, ка-ак побежит...

А машины дальше пошли:

— Уры-ы-ы!

Клетки между собой:

— Скр-и-ип! Скри-ипп!

Бесстрашный Тигр перестал реветь и только икал:

— Ык! Ык!

А зверь с лохматой гривой, что убежал из клетки, мчался большими скачками к лесу. Бежит, оглядывается, гривой потряхивает, кисточкой на хвосте помахивает. Забежал в лес, остановился, чтобы перевести дух, а сверху его по голове — бум!

— Ой! — вскрикнул Беглец и спрятался за куст.

— Извините, пожалуйста, это я уронила шишку. Но я не нарочно, честное слово, — раздался тоненький голосок, и Беглец, выглянув из-за куста, увидел на ветке высокой ели маленького зверька с пушистым хвостом.

— Т-ты к-кт-то? — спросил Беглец, и на всякий случай зарычал: — Ры-ы!

— Я? Я — Белочка, — сказал зверек с пушистым хвостом. — А вы кто?

— А я не знаю, — ответил уныло Беглец.

— Ой, как интересно! — удивилась Белочка. — Я ни разу не видела такого зверя, как вы, и с таким странным именем — «Не знаю». А вы любите орехи?

— А что такое орехи? — спросил Беглец.

— Ах, вы не знаете, что такое орехи?! — запрыгала на ветке Белочка. — Вы влезьте на дерево, и я вас угощу орехами. Они очень-очень вкусные, уверяю вас.

Беглец довольно ловко забрался на дерево, уселся в развилке ветвей и стал грызть орехи, которые ему подала Белочка. Зубы у него были довольно крепкие, потому что расправился с орехами он быстро. Облизнулся и тяжело вздохнул.

— А почему вы тяжело вздыхаете? — спросила Белочка. — Может быть, у вас болит животик? Тогда потерпите, скоро придет моя мама, она даст вам сушеной черемухи, и все-все пройдет. Честное слово, меня мама всегда так лечит. А где ваша мама?

— Не знаю, — ответил Беглец, и посмотрел на Белочку грустными-прегрустными глазами.

— Как? — воскликнула Белочка. — Вы совсем не знаете, где ваша мама?

— Наверное, в Африке, — сказал Беглец и шмыгнул носом.

— В Африке? — Белочка чуть не свалилась от удивления на землю. — Так-так-так, вы из Африки?

— Да, но меня оттуда увезли совсем маленьким.

— Даже если совсем-совсем крошечным, но ведь из Африки! Это самое главное. Ах, я ни разу не была в Африке, и моя мама не была, и бабушка, и прабабушка, и прапрабабушка. Нам только о ней рассказывают птицы. Правда, что там очень жарко?

— Нормально, — сказал Беглец и оглянулся. С другого дерева по веткам быстро-быстро бежала другая белка, только ростом побольше. Она подбежала и грозно закричала:

— Кто-кто-кто такой?! Что-что-что надо?!

— Это моя мама, — пояснила маленькая Белочка, и, обращаясь уже к матери, сказала: — Мама, не волнуйся, этот зверь из самой Африки. И мы с ним уже подружились.

— Из самой-самой Африки? — удивилась и Белка-мама.

— Да, — сказал Беглец. — Из Африки.

— Только он не знает, как его зовут, — сказала Белочка.

— Как так? — опять удивилась Белка-мама. Когда ей объяснили, она успокоила. — Сейчас пойдем к дедушке Филину, он самый ученый из всех зверей и птиц, и он сразу же скажет, как вас зовут.

И они двинулись в глубь леса. Причем белки прыгали с дерева на дерево и так громко тараторили, что скоро весь лес уже знал о новом звере. Он шел по земле на четырех лапах, и еле успевал за белками, так быстро они скакали по веткам. А уже за ним, на почтительном расстоянии, бежали зайцы, барсуки, бурундуки, еноты, сторонкой кралась Лиса, и только Волк плелся далеко-далеко сзади. Он только что сытно пообедал зайчонком, поэтому ему вредно было быстро двигаться.

Так все они и подошли к громадному старому дубу, в дупле которого жил Филин.

— Дедушка Филин! — закричала Белка-мама. — Дедушка Филин! Выгляни на минутку. Есть очень-очень важное дело.

В дупле что-то долго ворочалось, пытело, потом на зверей, стоящих рядом с деревом, посыпались гнилушки и труха, и наконец показался сам Филин.

— Ух! Ух! — закричал он. — Кто посмел меня беспокоить?! — Ух! Ух! — кричал он так громко и страшно, что зайцы задали стрекоча.

— Уважаемый дедушка Филин, — очень вежливо сказала Белка-мама, хотя ей тоже было страшно. — Здравствуй и посмотри, пожалуйста, на этого зверя. Он из самой Африки, но не знает, как его зовут. Будь добр и мудр, верни ему его имя.

Филин захлопал большими глазами и сказал строго:

— Это Собака.

— Нет-нет, уважаемый Филин, это не Собака, — поправила его Белка-мама. — Он не может быть Собакой. Он не лает и хвост у него не крючком...

— Тогда это Волк, — буркнул Филин.

— Это я Волк, — закричал Волк и подскочил к дереву. — А если ты, старый пень, не видишь днем, так не морочь порядочным зверям голову.

— Кто посмел со мной так грубо разговаривать? — закричал Филин. — Ух, я его сейчас...

— Ах, ты еще и грозишься!? Ну-ка спустись пониже, я тебе перья повыдергаю, — зарычал Волк. — Ты не мудрый, ты глупый. Это тебе говорю я, Волк. И не щелкай клювом, не верти глазами, я тебя не боюсь. Ишь, привычку взяли — как что случилось, так Волк сделал, как что плохое — опять Волк. А я что... А я самый безобидный, самый безвредный. Все меня обижают... — Волк соорил такую мину, словно вот-вот заплачет, и даже всхлипнул...

Все молчали. Молчали зайцы, молчали еноты, молчали бурундуки, молчали барсуки и только Лиса заговорила громко, стараясь, чтобы всем слышно было:

— Молчите? Вот все согласны, что мы с Волком самые безобидные, самые безвредные... А ведь за глаза наплетут такое, аж волос дыбом становится. Ну, пусть хоть кто-нибудь из вас, из присутствующих, скажет, что я его съела. Ну, кого из вас я съела? Ну!

Звери молчали.

— Подождите, — закричала с дерева Белка-мама, — сейчас речь не об этом. Мы собрались, чтобы узнать, как зовут нашего гостя. Кто бывает в Африке?

— Дикая Утка была в Африке, — тихо сказала Лиса.

— А где она? Утка! Дикая Утка! Где ты?! — закричали зайцы и еноты.

— Не кричите, зря надрываетеесь. Я же сказала, что она была в Африке... — пробормотала Лиса и облизнулась.

— Съела! — ахнули зайцы. — Лиса съела Утку.

— Неправда, — лениво возразила Лиса. — Ей надоело каждый год летать в Африку и обратно. Вот она и попросила меня... По-моему, так пора расходиться.

— Конечно, пора, — поддержал ее и Волк.

— Пойдите! — закричала Белка-мама. — Так же нельзя. Как вам не стыдно перед гостем. Погодите! — и уже обращаясь к Филину, воскликнула. — Посмотри повнимательней, многоуважаемый Филин. Видишь у него на голове грива...

— Грива?! Ух! Так что же ты мне сразу не сказала? Ух! Ух! — рассердился Филин. — Раз есть грива, то это Лошадь! Ух! Ух! — и скрылся в дупле.

— Хи-хи! — запищали зайцы, прикрывая морды лапами. — Какая же это Лошадь? Хи-хи!

— Я же говорила, что пора расходиться, — сказала, нарочито зевая, Лиса. — Всегда эти белки-трещотки побеспокоят зря.

— Лиса права, — поддержал ее Волк и тоже зевнул.

Все уже задвигались, собираясь расходиться, когда голос подал Барсук:

— Погодите, — сказал он. — Я вспомнил. Ведь у нас еще есть Ежик. Надо позвать его.

— Ежик?! Зачем он нам? Он хоть и вкусный, но очень колючий, — сказала Лиса.

— Да, на самом деле, зачем нам Еж, — поддержал ее Волк. — Я как-то ночью нечаянно сел на него, так ой-ей-ей...

— Ежик три года жил в зооуголке в школе, у людей, поэтому он все знает... — упорствовал Барсук.

— Не надо Ежика, — закричал Филин из дупла и заухал грозно. — Ух! Ух! Я самый умный, самый мудрый. И если я не знаю, то не знает никто.

Но зайцы уже прыгнули в разные стороны, высоко подпрыгивая на бегу и тоненько вскрикивая:

— Ежик! Ежик! Ежик!

— О-о! Это надолго, — сказал Волк. — А мне вредно на лапах долго стоять, у меня этот... радикулит. Я лучше прилягу. — Он выбрал место под кустом, и только улегся, как сразу же с воплем подскочил: — А-а-а-а! — кричал он так яростно и громко, что все звери шарахнулись за деревья. А Волк тем временем размахнулся задней лапой и совсем по футбольному поддел что-то на земле и еще сильнее взвыл: — А-а-о-о-у-у-у! — захромал и поплелся, хромя, прочь, продолжая жалобно выть: — О-о-о-о-у-у-у-у!

Звери ничего не поняли, пока из-под куста не раздался тихий голос:

— Я, кажется, кого-то уколол?

Первой догадалась Белка-мама:

— Это же Ежик. Волк лег на Ежика, а потом еще и поддел его. Ежик! Ежик! — закричала она, спрыгнула на землю и подбежала к кусту. Звери бросились за ней.

И точно, под кустом, свернувшись в клубок, лежал Ежик. Он испугался шума подбежавших зверей и грозно выставил во все стороны колючки.

— Уважаемый Ежик, мы искали тебя, чтобы просить о помощи, — поспешила успокоить его Белка-мама. — Ты целых три года жил у людей в школьном зооуголке. Поэтому не подскажешь ли, как зовут вот этого зверя? — она указала лапкой на Беглеца, и добавила: — Родом он из Африки.

Ежик развернулся, выставил вперед свое рыльце, принюхался и, уставившись на Беглеца подслеповатыми глазами (ежики тоже охотятся по ночам), стал бормотать:

— Четыре лапы. Хвост один. На хвосте кисточка, — все звери, напяля слух, прислушивались к его бормотанью, которое становилось громче, громче: — На хвосте кисточка. Голова одна. На шее грива. Грива! Грива! Родом из Африки. Это... Это... Это Лев, Царь Зверей! — закричал он.

— Лев?! — воскликнули Белка-мама и Белочка в один голос. — Ах, как это интересно!

— Царь Зверей! — воскликнули зайцы и бурундуки, еноты и барсуки. — Есть теперь у кого искать защиты от Лисы и Волка. Ура! Ура!

— Лев? — удивилась Лиса. — Вот это Лев? Царь Зверей? Посмотрим-посмотрим...

— Я Царь Зверей? — переспросил удивленно Беглец. — А что мне дальше делать?

— Приказывать и рычать, многоуважаемый Царь Зверей. Приказывать. Тихо! — закричала Лиса, подметая своим пушистым хвостом землю перед Беглецом. — Тихо! Царь Зверей, Великий Царь изволит приказать... Что вы изволите приказать, ваше царское величество?

— Я хочу спать, — сказал Царь Зверей и для большей убедительности так рывкнул, что вздрогнули деревья, а зайцы затряслись мелкой дрожью.

— Царь хочет спать? Разойдись! — закричала Лиса и бросилась на зайцев. Зайцы наутек.

Так в лесу, в нашем обыкновенном лесу, появился Царь Зверей. А о том, как будет царствовать он, вы узнаете в следующей главе.

II.

Тихо-тихо в лесу. Даже комар не жужжит, даже бабочка не порхает. Потому что в тени, под кустом отдыхает Лев — Царь Зверей. А охраняют его сон Лиса и Волк. Правда, Волк еще прихрамывает, но все равно вид у него такой грозный, что зайцы боятся даже дрожать.

Но вот Царь Зверей зашевелился, открыл глаза, потянулся, встряхнул лохматой гривой и встал. И сразу Лиса отвесила ему низкий поклон, махнула хвостом, присела и спросила елевым голосом:

— О Великий Царь, что угодно вашей милости?

— С приятным пробуждением! Что угодно вашей царской милости? — эхом рывкнул Волк. — Приказывай!

Царь Зверей почесал задней лапой за ухом, зевнул еще раз и сказал тихо:

— Есть хочу.

— Царь хочет есть! — закричала Лиса.

— Великий Царь хочет есть самого жирного зайца, — зарычал Волк и облизнулся. — Ну-ка, самый жирный заяц — сюда! — рывкнул он в сторону дрожащих от испуга зайцев. — Самый жирный — быстрее!

А пока зайцы препирались и выталкивали друг дружку, Лиса погнала к Царю стаю куропаток. Птенцы были еще малы и не могли летать.

— Великий Царь, попробуй мясо этих пташек, оно нежнее самой нежной африканской пищи, — сказала Лиса, довольная, что опередила Волка.

— А почему они так жалобно пищат? — спросил Царь.

— Это они от счастья, что ты съешь их, — пояснила Лиса.

— Ах, как жаль, что я не ем птиц, — вздохнул тяжело Царь. — Я не могу осчастливить их.

— Ага! — восторжествовал Волк и оттолкнул Лису. — Что это за Царь, если он ест эти перья. Нет ничего лучше жирной зайчатины, поверь мне Великий Царь. Уж я в этом толк понимаю! Эй! Зайчики, быстрее, мои хорошие! Ну, прыг-скок! Прыг-скок! Для вас великая честь быть съеденным самим Царем!

— А почему они так дрожат? — спросил Царь.

— Это от счастья, что съешь их, — пояснил Волк. — Посмотри, какие они жирные. — Он облизнулся, глотая слюну.

— К сожалению, я не смогу осчастливить и их, — тяжело вздохнул Царь. — Я вообще не ем мясо.

— Ка-ак! — в один голос выдохнули Лиса и Волк. — Не может быть, это же так вкусно-о-о-о!

— Нет! — рявкнул голодный Царь. — Я не ем мяса, и в моем царстве никто не будет есть зайцев. Ясно?

— Да-а, Великий Царь, — взвыл Волк.

— И правильно, — воскликнула Лиса. — Мне всегда было жаль этих милых ушастиков. А вот птицы, они так противно пищат и мешают спать...

— И птиц я не ем, и никто в моем царстве не будет есть птиц. Ясно? — спросил Царь.

— Ясно, Великий Царь, — поклонилась Лиса.

— Ура! Ура! Да здравствует Лев — Царь Зверей! — кричали и прыгали зайцы.

— Ура! Ура! Да здравствует Великий Царь Зверей и Птиц! — кричали на разные голоса птицы, и лишь Волк и Лиса молчали.

— Позвольте спросить? — раздался с дерева тоненький голосок Белки-мамы. — Чем питается Великий Царь Зверей и Птиц?

— Я ем, — Царь на миг замолчал, и в лесу была такая тишина, что слышно было, как позванивает натянутая паутина, как шуршит облачко, пробегая по небу. — Я ем морковку, капусту, картошку, хлеб, траву всякую вкусную, ягоды, грибы и мне очень понравились, как их... — он взглянул на Белочку. И та радостно подсказала:

— И орехи!

— Ура! Ура Великому Царю Зверей и Птиц! — кричали во все горло зайцы и прыгали друг через дружку.

— Ура! Ура Великому Царю Зверей и Птиц! — кричали птицы и даже Лиса и Волк, оглядываясь по сторонам, тоненько подвывали: — Уря-я-я-я-у! Уря-я-я-у-у!

Тут же, словно в волшебной сказке, перед Царем выросла гора всякой пищи — здесь были и прошлогодние сушеные грибы, и орехи, и морковка, и капустные листья, и даже тепличный огурец...

А когда Царь насытился, он пожелал осмотреть свои владения, и звери шумной гурьбой повели его по лесу. И только Ежик остался на месте, под кустом. Он лежал, свернувшись клубком, и тихо бормотал:

— Лев не ест мясо? Удивительно. Лев — вегетарианец? Невероятно. Может, я что-то напутал? Грива, кисточка на хвосте.. Не мог я ошибиться. А вдруг у Львов сейчас мода не есть мясо? Наверное, так... — он развернулся и побежал следом за всеми.

Впереди Царя Зверей бежали бурундуки и зайцы, крича во все горло:

— Дорогу Царю Зверей и Птиц!

По бокам шли тесной гурьбой еноты. Следом, выставив пузо, солидно ковыляли барсуки, а уже за ними тащились Лиса и Волк. Волк хромал сильнее обычного и на все четыре лапы. А над всей этой торжественной процессией, словно на воздушном параде, вились птицы:

ласточки, радостно щебеча, чуть не касались заячьих ушей, воробьи, скворцы, дрозды, трясогузки, горлинки, синички — вились над головами и во все горло славил Царя Зверей и Птиц.

Вот Царь приблизился к реке, которая разделяла лес на две части. Река была неширокая, но глубокая, и не каждому зверю под силу было перепрыгнуть ее даже в узких местах.

Царь наморщил лоб, заозирался по сторонам. Зайцы отбежали подалее для разбега, они хотели удивить всех своими прыжками.

— А это что? — спросил Царь, показывая на большие деревья, поваленные по берегам реки.

— Это бобры, ваше царское величество, валят деревья себе на прокорм, — ответили еноты.

— А бобры — это кто? — заинтересовался Царь.

— Бобры — это мы! — вынырнули из воды бобры, сразу целых шесть штук. Мокрая шерсть их лоснилась и блестела. Первым вылез на берег старый седой Бобер, поклонился Царю и спросил:

— Зачем вам понадобились бобры, ваше царское величество?

— А не смогли бы вы повалить, например, вот это дерево, — Царь указал на громадную осину. — Но так, чтобы верхушка ее упала на тот берег?

— Для вас с радостью, ваше царское величество, — он моргнул молодым бобрам. — А ну-ка, ребятки, взяли!

И вот все шестеро бобров обнажили свои белые резцы и пошли вокруг осины, подгрызая ее. Бобры старались во всю. И прошло совсем немного времени, как раздался треск и осина упала с одного берега на другой. И вот сначала бурундуки и зайцы, а затем Царь и все остальные перешли на тот берег. Зайцам очень понравился этот мосток, и они, восхищаясь умом и мудростью Царя, прыгали на дереве через головы, делали сальто и многие другие фокусы. Некоторые зайцы при этом падали в воду, но их тут же вытаскивали на берег заботливые бобры.

Шум стоял такой невособразимый, что проснулась даже старая Цапля. Она отдыхала в камыше, пережидая жаркое время дня.

— Что случилось? Отчего такой шум? — спросила она у Волка и Лисы, которые с кислыми минами на мордах тащились к новому мосту, когда все звери уже перешли на другой берег.

— Ты что, старая сухая щелка, — закричал на нее Волк. — Не видишь, как мимо тебя прошел Лев — Царь Зверей?

— За это ее нужно съесть! — поддержала Волка и Лиса, и стала подбираться сбоку, жадно облизываясь.

— Лев? — удивилась Цапля. — Но я не вижу никакого льва.

— Как? — рассвирепел Волк. — А вон за зайцами идет! Это тебе что, не лез?

— Следом за зайцами? — переспросила Цапля, вытягивая и без того длинную шею. — Где же лев? Я не вижу. За зайцами идет обезьяна... По-моему, так — обезьяна.

— Обезьяна? — закричал Волк. — Ах ты, высохший сучок, — оскорблять Царя Зверей! Да я тебя сейчас...

— погоди, не шуми, Волк, — вкрадчивым голосом сказала Лиса. — Дай внимательнее посмотреть уважаемой Цапле. Так ты, говоришь, что это не Лев, а Обезьяна?

— Кого ты слушаешь, Лиса, — перебил ее Волк. — Эта старая Цапля выжила из ума. Какая же это Обезьяна, когда Лев. Он запретил Лисе есть птиц, а мне зайцев. И благодаря этому царю ты еще живешь. Иначе Лиса не посмотрела бы, что на тебе нет ни грамма жиру...

— погоди! — закричала на него Лиса и закрыла ему лапой пасть. — Ты все испортишь! Молчи! Цапля-голубушка, ведь ты очень мудрая, мудрее даже Филина. И каждый год летаешь в Африку, и, ко-

нечно же, видишь там Льва — Царя Зверей. Так не скажешь ли нам — кто идет за зайцами? Какая обезьяна?

— ...запретила Лисе есть птиц, а Волку зайцев... — в раздумье повторила Цапля волчьих слова. И встряхнув головой сказала громко:— Да, слепну я от старости. Как это я не узнала Царя Зверей и Птиц?! Да здрав...

— Нет, стой, — схватила ее за хвост Лиса. — Ты нам скажи — это лев или не лев?

— Чтобы быть царем, не обязательно быть львом. Царю почет не за имя, а за ум... — загадочно сказала Цапля, рванулась и взлетела, оставив в лапах Лисы два пера.

— Что она сказала? — переспросил Волк.

— Что ты глуп, как пень, — в сердцах вскрикнула Лиса, отшвырнув цаплины перья.

— Ах, так! — взбеленился Волк. — Ну, я ее...

— Да замолчи ты! — сказала сердито Лиса. — Цапля что-то знает. Очевидно, на самом деле это не Лев.

— Но она сказала, что он — Царь, — возразил Волк.

— Нужно поймать ее во что бы то ни стало. И тогда уж она у меня заговорит! Вперед, Волк! — крикнула Лиса и помчалась в ту сторону, куда полетела Цапля.

Волк собрался последовать за ней, как вдруг увидел совсем неподалеку людей. Много людей. Они шли тихо и несли в руках зачем-то сети и веревки. Волк лег и притаился. «Уж не за Царем ли?» — подумал он.

— Где-то он здесь. Не мог он далеко уйти, — сказал один из людей. И Волк понял: «За Царем!» — и задрожал от радости.

А в следующей главе и сказке конец!

III.

Поздней осенью из пункта «В» в пункт «А» возвращался зоопарк. Автомобили, натуженно ревя моторами, везли железные клетки с гориллами и оленями, с удавами и крокодилами, с кенгуру и муравьедами, с пантерами и гиенами, с павлинами и леопардами, со скунсами и выдрами, с броненосцами и антилопами... Отдельно, на больших-больших автомобильных платформах, ехали слоны и бегемоты.

Шли машины по дороге, шли друг за дружкой и ревели глухо:

— Уры-ы-ы-ы!

А клетки между собой:

— Скри-и-ип! Скри-и-ип!

Перепуганные звери попрятались в укромные уголки клеток, сидят, молчат, дрожат. И даже бесстрашный Тигр, большой и полосатый, не ревел сегодня, а только икал:

— Ы-ы-ык! — икал он.

— Уры-ы-ы! — ревели машины.

— Скри-и-ип! — скрипели клетки.

— Ы-ы-ык! — икал Тигр.

Дорога спустилась под горку, а под горкой ручеек. А через ручеек — мосток. А перед мостком, сразу за придорожной канавой, на удивление шоферам тесными рядами сидели зайцы, еноты, бурундуки, белки, барсуки... Ежик перебрался через канаву и сидел на самой обочине. А над дорогой летали низко, чуть не попадая в стекла машин ласточки, воробьи, скворцы, дрозды, трясогузки, горлинки, синички... И когда последняя машина подъехала к мостику, все звери увидели в клетке Царя. Он стоял, прижавшись мордой к прутьям, и махал лапой. Дверь клетки была закрыта на замок и еще закручена проволокой. А над дверцей висела табличка, на которой было написано:

«Семейство Обезьяньих.

Вид — Павиан.

Кличка — Лев».

Все звери — и еноты, и барсуки и бурундуки, и белки—замахали лапами и закричали что есть силы:

— Ура-а-а! Да здравствует Царь Зверей и Птиц! Ура-а-а!

Зайцы не кричали, потому что захлебнулись бы слезами, так горько они плакали.

А ласточки влетали прямо в клетку, садились на плечи и спину Царя и рассказывали, что, после того, как люди забрали Царя, бобры сделали еще три моста через реку. Они тоже хотели прийти провожать, но не могут долго без воды. Что Волк пока еще побаивается нападать на зайцев, когда они вместе, а Лиса на прошлой неделе уже съела двух перепелок и одну синичку...

Машины вышли на горку и пошли быстрее. Звери стали отставать, и лишь зайцы еще долго бежали следом да птицы летали над дорогой, громко крича на все голоса:

— Да здравствует Царь Зверей и Птиц! Да здравствует Царь Зверей и Птиц! Слава Царю!

А машины уходили дальше и ревели глуше-глуше:

— Ры-ы-ы-ы-у-у-у...

Из пункта «В» в пункт «А» возвращался зоопарк...



Электронная библиотека АКУНЬ, elib.altlib.ru

50 коп.

Электронная библиотека АКУНЬ, elib.altlib.ru

На первой странице обложки
Чтец С. И. ПИРОГОВА.